Татьяна Алферова
Поводыри богов

Татьяна Георгиевна Алфёрова
Поводыри богов (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8686492
Алферова Т. Г. Поводыри богов : Роман, повесть.: ОО «Союз писателей Санкт-Петербурга» / «Геликон Плюс»; СПб; 2014
ISBN 978-5-93682-962-8

Аннотация

«Поводыри богов» – роман о Старой Ладоге в последние месяцы правления Вещего Олега. Языческие праздники, в которых участвуют ладожане, князь с дружиной и многочисленные боги Ладоги: славянские, финно-угорские, скандинавские; заговор князя Игоря против Вещего Олега, прикладная магия языческих обрядов, быт древнего города, где люди прямо и обстоятельно обращались к богам, и боги отвечали людям.

Повесть «Платок для грешника» – своеобразный ремейк «Шагреневой кожи». Но в наши дни взаимоотношения героя и черта оборачиваются совсем не тем, чем ожидалось, а зло пробует себя на роль судьи.

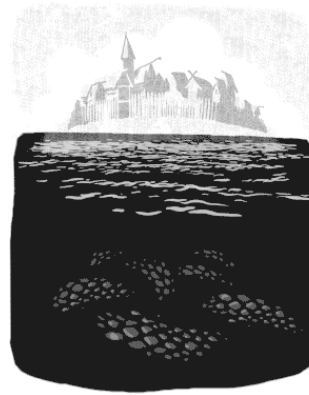
Содержание

Поводыри богов 5
Часть первая 5
1 6
2 7
3 10
4 25
5. Говорит Ящер 34
6 37
7. Говорит Ящер 44
8 45
9. Говорит Ящер 55
10 56
11 62
12 66
13 71
14 74
Конец ознакомительного фрагмента. 82

Татьяна Алферова
Поводыри богов (сборник)

© Алферова Т., текст, 2014
© «Геликон Плюс», макет, 2014

Поводыри богов



Часть первая

Это было в те давние времена, когда боги ходили по земле и говорили с людьми. В те времена, когда боги одного племени дружили с богами соседей, или, напротив, враждовали, если в ссоре были люди, поклонявшиеся им. Боги вмешивались в дела, государственные и семейные, делили с людьми еду и кров, горе, радость и битву. Множество маленьких божков пряталось в живой зеленой листве священных рощ, а не среди бумажных листов ученых книг или сказок. И далеко было до той поры, когда иные великие боги

исчезнут совсем, а от других останутся лишь полустертые силуэты на старинных браслетах да съеденные временем каменные столбы. Боги надежно запрятали память о себе, но изредка мелькнет что-то смутно знакомое, почудится странный и милый отголосок в сказке, детской песенке, в поговорке или свисте ветра над пустырем, где некогда росла священная роща: слушай!

1

– Да слышу я, слышу! Не кричи! Что же тебя так напугало? Иду, иду уже! Ну, куда идти-то? На поле, что ли? К реке?

Седовласый, но с темной еще длинной бородой жреца человек поднялся с корточек и резво зашагал в сторону Волхова. У него обнаружилась упругая легкая походка и прямая осанка. Он не стар, несмотря на белые волосы и глубокие морщины, но пока сидел без движения, казался чуть ли не дряхлым. Нарядная сорока, с которой он так по-свойски беседовал, покружилась в воздухе еще немного и села на ветку высокой ольхи перевести дух. Птица взволнована, что-то случилось, что-то неправильное, по сорочьим понятиям, и человек должен разобраться. На то он и хозяин этой поляны. Обитатели поляны, леса и реки не выносят неожиданностей, хотя готовы к ним. Рядом большой город Ладога, много в нем народа, а от людей нечасто дождешься хорошего. Но к хозяину поляны это не относится, он свой. Другие люди, те,

что изредка заходят сюда, считают: хозяин умеет говорить по-звериному и щебетать по-птичьи; это не так. Кое-что он понимает по-сорочьи, это правда. Но мало. Не расскажешь ему, не объяснишь, что случилось на поле. Пусть сам сходит, посмотрит, зачем лежит там маленький человек, не ровен час, беда пришла.

2

Над полем, пока солнце не взошло высоко, в дрожащем воздухе кувыркались псы с широкими крыльями и тонкими длинными хвостами, завитыми подобно молодому побегу хмеля. Из людей редко кто замечал небесных псов-семарглов, они невидимы на свету, но всем известно, что всходы на полях охраняют крылатые псы. Нежные побеги доверчиво устремлялись вверх, пытаясь дотянуться до семарглов, и те раздували круглые ноздри, нюхали хрупкие листочки, смеясь, переворачивались в воздухе через голову. Если перекувырнуться над ростком, никакой заморозок не повредит ему, даже мелкие букашки, когда перевернешься над ними, начинают расти и могут дорасти до стрекозы. Нет божества веселее и простодушней семарглов, вот только говорить они совсем не могут, разве друг с другом. Пролетела по важным птичьим делам пестрая сорока, не обратила внимания на радостную возню. Рыжая бабочка, испугавшись сорочьей тени, вспорхнула под носом у молодого семаргла, почти щен-

ка. Тот счастливо взвизгнул, растопырил толстые мохнатые лапы, закувыркался следом; его узкие, не успевшие развиться крылья хлопали по бокам, как вторая пара ушей. Бабочка летела старательным зигзагом, и малыш неловко промахивался всякий раз, тщась перевернуться перед нею, как положено у тех, взрослых, кружащих над полем. А седая лапа утренника, утреннего заморозка, уже хватала всходы ячменя, оставшиеся без присмотра маленького мохнатого защитника. Шлепнувшись на солнечный луч толстеньким крупом, щенок заспешил назад, расправляя крылья и прижимая уши, но опоздал. Часть вверенных ему побегов упала на землю, подрезанная утренником. Семаргл кинулся на вора, норовя ухватить за седую лапу, но утренника и след простыл. Старшие лукаво ухмылялись, свешивали набок яркие языки, косили глазами и кувыркались, кувыркались – работали. Солнце поднялось выше, стало почти тепло, и псы дружно потянулись к реке. Вожак ткнул щенка влажным носом, словно укорил:

– Проворонил!

Малыш пристыженно заскулил, перевернулся над погибшими ростками. Тщетно. Понадобится две долгих недели, чтобы разросшиеся соседние растения закрыли пятно голой земли – свидетельство его нерадивости.

Семарглы аккуратно огибали человека, идущего кромкой поля. Маленький человек, человечий щенок, направлялся от реки к лесу. Он брел с закрытыми глазами, неуверенно, слов-

но речной житель, выброшенный волной на землю. Тонкие светло-русые волосы намокли, липли к шее и плечам, ветхая рубаха, даже не подпоясанная, как положено у них, у людей, тоже промокла насквозь.

Щенок-семаргл хотел спросить вожака, почему человечий детеныш ходит вдоль поля в неположенное время, почему ступает странно и неуклюже, не так, как прочие люди. Щенок обязательно спросил бы, и, кто знает, может, они сумели

бы приручить-выдрессировать человечка, играли бы с ним по утрам до самой Купалы. Ведь семарглов так мало в здешних краях, потому что мало полей, мало всходов, нет работы для крылатых псов. Но стыд за померзшие, погибшие по его вине побеги мешал малышу. Вожак, конечно, услыхал и так, но лишь ухмыльнулся, не счел нужным отвечать провинившемуся. Семарглы бледнели, растворялись в воздухе, еще чуть-чуть, и от них осталось одно куцее пушистое облачко над рекой, желтоватое по краям.

Маленький человек добрел до опушки, шагнул под широкие ветви крайней сосны, открыл глаза, огляделся и упал, как подкошенный, навзничь. Серо-голубые глаза с неподвижными зрачками доверчиво смотрели в небо, на легкую стайку желтоватых облаков. Испуганно застрекотала сорока, полетела ябедничать кому-то, жаловаться. Река позади поля вздохнула, потянулась ленивыми волнами. Ветер, шипя и присвистывая, ухватил облака, потащил вдоль берега до высокой ольхи, но устал и запутался в ветвях, разбившись на тысячи мелких судорог.

3

Богатый город Ладога, большой город. Куда до него новой столице – Киеву. Каменную крепость здесь рубили пришлые мастера, на три с лишком метра растут в небо ее стены да на три метра тянутся в ширину. Кто сам не видел, не поверит!

Крепость стоит на остром мысу, с одной стороны катит седые волны Волхов, Ольховая река, с другой – добрая милая речка Ладожка. По берегам огромные сопки да курганы, могильники. В сопках князья лежат, дружинники лежат, охраняют город. Но никто не знает, где похоронен главный князь, Князь Рюрик, построивший эту новую каменную крепость.

Одни говорят, Ладогу основал князь Словен, деды еще помнят, что звали в те Словеновы времена город не Ладогой, а Великим Городом Словенском. Другие – что город стоял здесь и до Словена. А прежде города тут жила русоголовая весь, музыкальное певучее племя. Одни боги знают, как было на самом деле. Ладожский посад растянулся вдоль берега Волхова и за Ладожку, в ее устье – это общая городская гавань. Много улиц, много дворов: целых пять концов в городе, но всем жителям хватит места в огромной крепости, если враг придет. А крепость взять нельзя, другой такой неприступной на свете нет. И большой такой нет нигде. Улицы чистые широкие, деревянными плашками мощенные. Дерева у Ладоги не считано: вокруг вековые дремучие леса. И народов много: чудь, весь, и корелы, и славяне ильменские, и голубоглазая водь, а еще пришлые люди. Земля здесь не ахти, зато рыбы всякой хоть решетом черпай. Многие рыбалкой кормятся. Тесновато, конечно, девушки, когда на качелях качаются, могут перекликаться из сада в сад, как птицы, так близко дома стоят. В богатом городе у девушек всегда найдется время для качелей. Дома разные, всяк по-сво-

ему строит, но больше пятистенки или избы с крытой галерейкой, опоясывающей дом. Самая дорогая земля в городе – у реки. Зажиточные мастера-ремесленники за домом свои собственные пристани держат, с них и торгуют. А купцы, те товары дальше везут, далеко, до самого Русского моря. А уж храмов, святилищ в городе: открытые земляные, закрытые деревянные, разные! Народов много, значит, богов много, вот и строят храмы без счету. Есть в городе большие дома с обширным двором для гостей – заезжих купцов, есть дома для дружинников. Но все-таки больше, чем жрецов, рыбаков или даже дружинников, в Ладоге купцов и мастеров. От них и богатство городу. Что только не делают мастера: корабли и украшения, оружие и детские игрушки. Особая слава у резчиков, те что из камня, что из дерева любого бога сотворят, ну почти любого. А торгуют в Ладоге – Серебряных Воротах – всем, что только есть на свете. Но самое странное, что от этого изобилия останется далеким потомкам всего ничего. Несколько скульптурок, застежек-фибул для одежды, клинков. Набор ювелирных инструментов. И ни одного святилища.

Варяжская улица в городе – особенная улица. Бедных дворов здесь нет вовсе. Живут на улице волхвы, а вовсе не дружинники, не варяги. На самом-то деле иные из них большей частью при пышных храмах обретаются, кто и вовсе в княжеских палатах, но свой собственный двор все равно держат. А у кого так прямо во дворе святилище с жертвенником сто-

ит, если невелико. И всесильные облакопрогонители, особо почитаемые земледельцами, есть на улице, и кобники, что ищут веления судьбы, рассекая голубей да петухов ножами с серебряными рукоятями; и кудесники, поющие чудесные песни-кощуны; и чародеи, подсматривающие грядущее в налитых до краев гадательных чашах; и хранильщики, что учат мастеров изображать бога так, чтоб не обиделся тот, не покарал, раздосадованный неудачным портретом. У кого-то из волхвов большое семейство, жены и дети, а у кого вся семья – лишь работники да невольники. Говорят, дети волхвов живут несчастливо или недолго. У кого как.

Либуша, ворожея молодой княгини Ольги, жила почти посередине улицы, где та изгибалась к реке. Налево широкая мощеная дорога – к кремлю, направо дорога поуже, в конце улицы уж не мощеная, песочком присыпанная – за город, вдоль реки и к лесу. Изба ворожеи не слишком богата, но красива и удобна. На фасаде три солнца под крышей, все как в жизни. Левое – утреннее восходящее, правое – вечернее. А под коньком – полдневное в зените и три длинношеих лебедя сверху. Так и катается солнце над землей каждый день, с востока на запад, в огненной колеснице, запряженной огромными белыми лебедями. Никакие навьи и злые ветры не проберутся под крышу ворожеи: резные солнца не пустят, а по кромке еще бегут деревянные узорчатые полотенца с резьбой, изображающей росу небесную. За домом амбары и хлев, дальше к Ладожке – небольшой сад с яблонями, виш-

ней, душистой смородиной. Огорода же вовсе нет, все приносят ворожее в дар, лишь бы помогла, замолвила словечко за просителя перед своей богиней. В центре двора, обнесенного высоким частоколом, небольшой деревянный храм Мокоши-Судьбы. На стрехе уж не лебеди сидят, а сама всесильная капризная Мокошь-матушка с воздетыми к небу руками, полными грудями и две прекрасные, вечно юные всадницы по сторонам.

В избе у Либуши гость. Развалился на лавке в чистой рубахе, и не скажешь, что бродячий ведун, в широких штанах из неровной домотканой материи, а голову пристроил хозяйке на колени. Ворожея с непокрытыми очень светлыми и пушистыми, точно встрепанными, косами расчесывает его, не жалея дорогого самшитового гребешка, выискивает блох тонкими нежными пальцами, приговаривает что-то невнятно ласковое. В хлеву за домом мычит корова, как умеют мычать только пестрые длиннорогие коровы: жалобно и звонко, просит подоить, а ленивые работники не идут, наверняка спят. Но хозяйка не торопится разбудить и приструнить их, пытается задержать светлую северную ночь, их общую с гостем ночь в нарядной избе с пучком свежих кукушкиных слезок за притолокой, с широким столом, покрытым тяжелой праздничной скатертью, вытканной ромбами. А Ящер уже открывает пасть, и солнечный диск нового дня дрожит и сияет в его глотке, рвется наружу, торопится обогреть землю. Розовый новорожденный свет лезет в треуголь-

ные маленькие окошки, глядящие на восток из-под потолка. Кричат без устали птенцы на яблоне за домом: мамку зовут, выбирается на свет круглый и красный в мелкую крапинку блестящий жук из-под малинового листа, ползет на солнце. Небесные коровки всегда ползут на солнце, потому так и называются – небесные. Для жука яблоня – это страна целая, а для птицы яблоня – дом, для кошки же – всего лишь мебель, как лавки и полки у людей. Вот какой разной может быть яблоня в саду у Либуши.

– Скажи, Либуша, что за суета в городе? – сонно спросил мужчина и до хруста потянулся, освобождая голову с уже редеющей шевелюрой из приятного плена женских колен. – Мне сегодня надо бы кое с кем встретиться, потолковать. Ну раз уж у тебя задержался, хоть слухи соберу.

Хозяйка разочарованно отложила гребень, разгладила на круглых коленях богатую сорочку. Такой не постеснялась бы и боярыня: сорочка из тонкой переливчатой камчатой ткани, а у камки чудесное свойство отпугивать блох. В ней не зачешется тело, даже если сидишь у самой печи. Сорочка щедро расшита по вороту, подолу и рукавам тысячами кроваво-красных крестиков, они слагаются в изображения древних богинь Рожаниц с широко разведенными коленями и разбросанными руками, обнимающими мир. Рожаницы оберегают хозяйку от навьев, духов чужих зловредных мертвецов, и прочей скверны, что – того и гляди – норовит, как блоха, запрыгнуть за край одежды.

– Никак ты опять норовишь ввязаться во что-то, Гудила? Только ночь побыли вместе, на спокое, – ее выговор северянки смягчал упрек, убаюкивал, но гость не отставал.

– Какой покой, весь город забит пришлыми людьми. Я столько народу не видал отродясь, понимаешь. От суматохи голова кругом и чих нападает. Добро бы праздничная ярмарка, тут уж, дело какое, суматоху терпи. Но до праздника не меньше недели. Сам Вещий Олег, что ли, в новый большой поход собрался? Вон сколько разноплеменных наемников по улицам шляется без дела, не сидится им в крепости. Говорят, князь Игорь ему новую дружину в довес набирает, врут, поди?

Либуша не поддержала разговор, а попыталась отвлечь и соблазнить гостя свежими ватрушками с гоноболем: квашня уж подошла, долго ли напечь в поддымке, в горле печи, где пироги обретают особый аромат и румяную, но нежную корочку. Но Гудила, обычно готовый за пироги либо мягкую курочку собственные штаны отдать, слушал рассеянно и явно намеревался улизнуть, не дожидаясь ватрушки.

– Не нравится суета, не ходи в город, – отчаялась Либуша. – Здесь-то чем плохо?

– А у тебя двор – не в городе разве? – резво возразил он. – Так что слышно, будет новый поход или нет?

Хозяйка печально вздохнула:

– Неугомонный, что и ну! Потому и судьба у тебя изломана… Слушал бы разумных друзей, да дешевым медовым

варевом не увлекался, был бы нынче богат и знатен, ходил бы с долгой бородой да жил подле светлого князя.

Гудила грозно нахмурил смешные неровные брови, и женщина сделала вид, что напугалась. Покачала головой, приступила к рассказу; бусинами катились слова, бежали мелким речным жемчугом. Получалось у нее, что поход будет, но не так чтоб скоро. Хотя у женщин время совсем по-другому исчисляется, иной раз им неделя – долго, час – долго. А попроси ее что-нибудь серьезное сделать, месяца мало, что так скоро требуешь, спросит. Но уверяла ворожейка, что прежде похода князь Олег обязательно прибудет в Ладогу, чтобы не пропустить игрища на празднике Перуна. Хочет лично проследить, как праздник справляют, хорошо ли, широко ли, нет ли кому обиды. Плохо привыкает народ к главенству одного бога, а вещий Олег, видишь ты, Перуна уважает, перед прочими ставит.

Эту новость, то есть парадный, причесанный советниками вариант, Гудила уже слышал и в городе, и от самой хозяйки еще вчера, пусть им с нею некогда было особенно разговаривать, другие дела нашлись, а все ж парой слов перекинулись. Но разве женщины помнят о том, что вчера говорили? Так и будет толочь новости, известные любому сопливому мальчишке в посаде. Прикрикнул Гудила, потребовал передать, что слышно в тереме у молодой княгини Ольги, ведь ворожее все секреты ведомы – правда? – все двери на женской половине кремля открыты для нее, а не открыты, так щелоч-

ка найдется или замочная скважина. А ему надо, очень надо знать, что на самом деле будет.

Женщина покусала румяные губы, еще пару раз вздохнула, потеребила кончик густой косы, переброшенной через плечо, но ответила. Тяжело совладать с неукротимым любопытством гостя, а тяжелей не поделиться с любимым тем, что ему так хочется получить.

– А на деле… Князь Олег едет проверить, какую дружину ему набрали в Ладоге. Сам знаешь, собирать князь-Игорю поручали, а тут дело непростое. Игорю особого доверия нет от князя Олега. Советник Свенельд присматривает за Игорем, но больно молод советник-то, да и не поймешь, кому в первую голову угодить старается: старому князю или молодому. Я так полагаю, что Свенельд-красавчик вовсе о себе лишь думает…

Гудила услышал то, что хотел, но нельзя, чтобы она поняла это, женщины слабые да разговорчивые, пусть считает, что не понял ничего:

– Ты мне бабьи сплетни не пересказывай, про молодых советников только тебе интересно!

Либуша усмехнулась, к лучшему Гудила перебил ее, так бы и выложила по извечной бабьей слабости все секреты. А секреты чужие. Княжьи секреты. Усмехнулась, помолчала да и продолжила:

– Будет поход в Персию. Новую дружину к весне обучить надо, перед тем как выступать. Свою-то старшую дружину

князь Олег дома в Киеве оставит, в новой столице. Устала дружина, умоталась по чужим землям и морям, пусть отоспится, отъестся. Заберет Олег свою дружину после, когда к Русскому морю двинется. Сюда же с небольшим отрядом приплывет, вместе с последним купеческим караваном из грецкой земли. Ты же знаешь, он благоволит купцам, вот сам не гнушается караван сопровождать, охранять от лихих людей. А то, Гудила, послушай, до Перунова дня еще – ой как, а до Купалы – седмица, Русалья неделя. Народу будет немерено, и бояре, и витязи. Поживешь у меня? Русалья неделя быстро проходит. Поживи до праздника, у нас весело будет, – уговаривала хозяйка и знала, что понапрасну, что он давно все решил, но разве совладаешь с собственным языком. – Без меду весело.

– Ну, это врешь! – беззаботно возмутился Гудила. – Как это без меда весело!

Оба лгали с легкостью и осторожно скрывали друг от друга собственную печаль. В это лето последний раз Либуша будет плясать «на урожай» во главе ладожских русальцев. По обычаю всю Русалью неделю танец ведет самая красивая девушка, третий год в посаде выбирали ее, и еще ни разу не случалось ни одной девушке продержаться так долго. Плясунья и гусляр – самые важные в танце, но плясунья важнее. Танец отбирает всё, многие пляшущие падают без сил, без сознания даже после специального подкрепляющего напитка с чесноком. Многие, но не Либуша. Вот она выйдет в

круг, и взлетят, как крылья, руки, а длинные рукава до колен – как белое оперенье птицы. Плясунья закружится и запрыгает все быстрее, и вот уж не видно ее коленей и маленьких босых ступней, не видно разметавшихся спутанных волос и милого лица, и сильная резвая птица воспарит над толпой, не касаясь земли, и будут бить бубны, колдовать свирели, закричат и забьют в ладоши зрители. Третий раз этим летом полетит Либуша в небо и вернется на землю, навсегда. И останется одна. Ведь даже ворожея молодой княгини не может спорить с Судьбой-Мокошью, своей хозяйкой. Пусть свободными людьми, а не рабами были ее родители, и плакала мать, отдавая маленькую Либушу в учение известной ворожее, ничего нельзя поделать, если принесен обет, а цена его – высока. Не может Либуша выйти замуж, как другие девушки, даже безродные сироты, потому что дети ворожеи умрут. Так сказала Мокошь. А кому нужна жена без детей? Ничего не останется у Либуши после этой Купалы, был у нее танец-полет, и его не станет. А Гудила – что Гудила, его и не было у нее. Его нет даже у самого себя.

Гудила же старался не помнить о том, что весь город судачит о нем, не помнить, не знать. И не мед, не пьянство – причина пересудов, мед он полюбил после. Из знатного важного жреца Велеса Дарующего Богатство, с собственным домом при большом святилище, стал он бродячим волхвом Велеса Скотьего Бога. И виной всему – чужое предсказание да верность другу. Но помнит Гудила, как три года тому назад иг-

рал на гуслях и плясала перед ним юная Либуша свой первый купальский танец. Была тогда под его началом главная городская ватага русальцев: плясунов и музыкантов, заговаривающих урожай.

И Либуша сказала внезапно:

– Глядишь, надумал бы остаться у меня насовсем. Жил бы в своем доме, в городе. Как люди.

Речь, она порой быстрее мысли. И часто неосторожна.

– Подумай, Гудила! От Варяжской улицы до высших наиглавнейших волхвов недалеко. Может, еще удастся судьбу поправить. Останься!

«Что я такое говорю, – ужаснулась про себя, – зачем унижаю нас обоих?»

Продолжила скороговоркой, под дурочку:

– Посмотри, как изгулялся, кожа да кости, разве брюху ничего не делается, так и торчит репой! В каждой деревне по подруге, поди! – уронила руки в смущении.

– Какие подруги, голубка! – искренне ли, нет возмутился Гудила, выдерживая несерьезный тон. – Ты одна у меня, одна из единственных, не придумывай! Это купцы до девушек охочи, а я не купец, я скотинку лечу, – жалостливо вздохнул – вздохов в избе с утра скопилось предостаточно, – рассеянно зачерпнул маленьким ковшом бродильного кваса, остро пахнущего дрожжами. – Значит, будущей весной вещий Олег выступает. А сейчас едет на князь-Игоря поглядеть, за ним поглядеть то есть.

– Для всех объявлено, что князь устраивает празднество в честь Перуна, – уточнила ворожея. – На праздник хочет собрать волхвов и снова о судьбе пытать. Послушает, что скажут, подумает и отправится.

Либуша благоразумно промолчала о том, первом предсказании, изменившем судьбу Гудилы. Хватит, поговорила уже, распустила язык. Лучше откинуть косы, тогда гость увидит новые серьги, она вдела их утром. Драгоценный подарок княгини Ольги, с тремя бусинами-солнцами каждая, богато изукрашенные мелкой зернью, перевитые тончайшей – с волосок – серебряной нитью, тяжело мерцающие в легком свете. Пусть полюбуется, как она хороша в этих серьгах, красота скорей, чем речи, подействует. Но Гудила даже не взглянул. Отставил ковш и нарушил собственное правило: заговорил о запретном, старательно забытом, но заговорил отстраненно, как непричастный.

– У князя Олега в думе своих волхвов чуть не больше, чем дружинников. И сам – волхв. А судьбы бояться стал. Прежнее-то предсказание о странной смерти князя от коня не сбылось, чего судьбы страшиться. Говорят, пал тот конь.

– Боится судьбы – и правильно делает. Не все прут на рожон! – хозяйка внезапно и необъяснимо для себя рассердилась. – Так уходишь?

– Остался бы, да надо знакомого кудесника проведать. Задержался у тебя, еще вчера должен там быть, а отсюда чуть не день пути. К празднику, знамо дело, появлюсь, – оправ-

дывался Гудила, торопливо глотая хмельной квас. С тоской глянул на холодную печь, подозревая, что до пышных с румяными, испещренными мелкими угольками краешками ватрушек так и не дойдет. И сизый гоноболь, брошенный без дела, прокиснет в лукошке.

Правда. Хозяйке не до ватрушек, но обнаруживать гнев – стыдно. Пусть думает, что ей все равно, пожалеет еще. Молча встала с лавки, подошла к коробам, после недолгого размышления, как будто она одна в избе, открыла меньший, богато изрезанный солнечными знаками, с праздничной одеждой. Плясать придется всю неделю, надо проверить наряд, не побила ли моль, не сильно ли помялся. Сама, словно и нет у нее девок в услужении, достала новехонькую верхнюю рубаху веселого красного цвета, парадный пояс с бляшками, покосилась на Гудилу – заметил ли, как будет она нарядна. Утомившись молчать так долго, пробормотала только что сложенное заклинание от скорого гнева и все-таки взорвалась:

– Знаю того кудесника, как же, нашел дурочку! В дешевых бусах да драной рубахе по мужским домам шляется, белье моет. Пустомясая и глаза разные. Что тебе в ней, проклятый?! Убирайся, чтоб вовсе тебя не видеть, чтоб навьи тебя забрали и ее с тобою вместе!

Вырвала у незадачливого гостя ковш с остатками кваса, прихватила и ведро, выскочила в подклеть: распекать заспавшихся работников. Гудила быстро почесал бороду, переплел вокруг щиколотки тесемки кожаных потрепанных са-

пог-поршней – еще быстрей, ухватил видавшую виды котомку – и вот его уж след простыл, на лавке только смятые покрывала.

Женщина возвращается к дому с тяжелой кринкой, полной молока, заглядывает внутрь, качает светлокосой головой и смотрит на убитую шагами дорогу: пуста дорога, ни следочка не сохранила. Куриные боги, подвешенные на жилах – серые камешки со сквозными отверстиями, подмигивают с изгороди; битые горшки, висящие рядом на счастье, блестят боками, приветствуют новый день, здороваясь с хозяйкой и утешая. Либуша печально слушает их, соглашается, ныряет в избу. Трогает непросохшую после жаркой и жадной ночи ткань на лавке – не соврали куриные боги, не подвели горшки: сохранилась волшебная влага! Радостная улыбка расправляет сердитые губы, серые глаза сияют. Вот изящный игольник на поясе, а в нем – острая игла, вот резвые ножницы, а вот – тонкая и крепкая жилка, не порвется! Быстро за дело: вырезать, не жалея дорогого льняного убруса, из ткани, еще хранящей влагу любви, двух маленьких куколок. Набить их сухими листьями черной мяты и еще одной тайной травой, чье название не произносится вслух, связать вместе: голова к голове, ноги к ногам, пропеть древний заговор, где слова без смысла, и спрятать в укромное место. А там посмотрим, чья возьмет! Много ли ты без меня погуляешь? Куколки живо завернут, присушат, как траву. Не вздохнешь, чтоб меня не вспомнить! Еще напросишься, наплачешься!

А я подумаю – принимать или нет, помучаю, как ты меня сегодня.

Рука, поднесенная к лицу, пахнет парным молоком, горечью и солью, любовью пахнет рука и железными ножницами. Сладко пахнет, если плотно к лицу прижать.

Желтая кошечка неторопливо лакает молоко прямо из кринки – не пропадать же добру, если хозяйка занята. Паук старательно зашивает угол, торопится. Опаздывает ворожея к своей хозяйке-богине в маленький, закопченный изнутри храм рядом с избой, не боится ничего сегодня. Суровая Мокошь-Судьба в пустом храме прижимает к тяжелой груди тяжелые руки со слипшимися бесформенными пальцами, безразлично взирая с алтаря, сложенного из семи слоев черепков от священных чаш. Все уже случилось, неважно, сейчас или через неделю, через год, некуда спешить. Нет рта у богини, нечем усмехнуться. А утренний свет стекает по ее узким плечам и массивному, расширяющемуся книзу рубленому телу с круглым могучим чревом.

4

В низкой полуземлянке, вырытой на крутом берегу давным-давно, старой, но еще крепкой и надежной, царили полумрак и приятная прохлада даже в самую ярую жару. Когда-то в землянке жил корельский шаман, но ушли корелы в леса, подальше от Ладоги, а сам шаман улетел за радугу в

леса вечные и богатые, полные грибов, орехов, сладких ягод и птиц. Три года тому назад здесь поселился волхв, скрываясь от гнева вещего князя. В то время князя называли Олегом-Оддом, вещим стали величать после греческого похода. Князь привез из похода богатую дань и устрашил греков. Вздрогнуло, покраснело от крови Русское море, горели и пеплом осыпались греческие предместья, защищавшие море, а корабли Олега наступали по суше, шли по земле, как по волнам морским. Хитроумный князь поставил свои ладьи на колеса, поймал парусами ветер и обошел береговые заставы, обманул всех, недаром был волхвом. Но прежде чем выступить в поход на греков, просил предсказания у других волхвов. И сказал один, что примет князь гибель от любимого коня. А другой сложил ладно бы торжественную кощуну – песенку сложил незатейливую и со смешком, потому обидную, распевал песенку, как бродячий скоморох. Впрочем, не было еще скоморохов, и пожалуй, повели они свой род именно от этого, второго, незадачливого да шалопутного.

Первый волхв бежал от княжеского гнева в леса, в знакомую землянку на высоком берегу Волхова. Ярость вещего Олега утихла после счастливого похода, смерть уже не грозила кудеснику – волхву-корелу, а корелы – лучшие кудесники. Бубен-кудесы под их пальцами звенит голосом судьбы, как бы та ни называлась у разных племен. Но больше этого умел волхв: повелевал облаками и влагой небесной, ветром и светом, мог говорить со всяким богом в любое время, но не

служил богам в святилищах и дома не хранил идолов, кроме дедов, божков домашнего очага, что живут в каждом доме, и богатом, и убогом. Смерть уже не грозила волхву, но вернуться ко двору не звали, понятно. А люди шли в землянку, не жалея полдня на дорогу, не скупясь на богатые подношения, но шли тайно, скрываясь от друзей, врагов и соседей, шли самые-самые смелые из людей или самые отчаявшиеся. Волхва боялись, даже быть рядом с ним боялись.

Второй же волхв, со своей дурацкой песенкой, вылетел из главного святилища Велеса, Дарующего Богатство, того всемогущего бога, каким клялись наравне с Перуном, единственным славянским богом, уважаемым князьями, всей дружиной и заморскими купцами, вылетел, как драный лапоть из дому, как камушек из лаптя. Стал он служить Велесу Скотьему Богу, а это уже совсем другое дело и другой лик бога. Этого волхва как раз не боялись, охотно звали посмотреть занедужившую скотинку, платили едой, вареным быстрохмельным медом, пристанищем на ночь. Жрец Велеса Скотьего смешон, нестрашен, разве буен во хмелю подчас…

По земляной крыше убежища, поросшей нежной короткой травой, бродила пегая коза с двумя козлятами и ловила темным носом влажный ветер. Маленькое стадо стерегли резные ящеры по углам крыши, они щерились деревянными мордами на все четыре стороны поверх конька, дергали шкурой, покрытой узором из капель, выворачивали круг-

лые уши, косясь на розовое отвислое козье вымя. Под низкой крышей тянулся деревянный орнамент причелин и стекал к земле, как молоко. Совсем близко плескала, шумела Ольховая река, Волхов; ветер с реки свободно проникал в открытый дверной проем, но терял силу по пути, не долетал до рослого старика, склонившегося над лавкой у западной стены землянки, напрасно тщился дотянуться до длинных прядей его волос.

Широкие лавки бежали вдоль бревенчатых стен, как в славянском жилище, по щелям меж потемневших бревен с глазками обрубленных зашкуренных сучков топорщился высохший седой мох. Против двери, устьем к улице – квадратная печь, теплая, протопленная ночью, несмотря на лето. Печной коник в трубе разевал полукруглую выемку, как рот, в таких матери хранят пуповины новорожденных – от злыдней. Злыдни неистребимы, они – везде, они могут забираться даже в дыхание, но печного коника трогать не смеют. И хоть не так страшны злыдни, как навьи-мертвецы, больше по мелочи пакостят, нужду чинят, но числом берут.

Всего один сундук притулился в углу комнаты, немного добра накопил хозяин. Под самой крышей тянутся сыпухи, узкие полки, на которые ссыпается сажа, когда топят печь. Есть полки и над лавками, на этих полках добра порядочно, но еще от прежнего жильца, все вперемешку, без разбору. Простые деревянные ставцы и рядом старинные кувшины с руническими письменами на стройном тулове. Миски, ков-

ши, лыковые ведерки. Дорогая заморская поливная посуда неуверенно жмется к толстой корчаге, тоскующей о веселом юге. На полке в красном углу, над дожинальным снопом – последним, оставленным в доме до будущей жатвы, – дремали домашние божки, деревянные деды, дремали их обвисшие усы, врастали в колени липовые руки, лишь острые шапки торчали восставшим удом.

Перед стариком на лавке без движения лежал подросток, лишь голова на тонкой шее моталась из стороны в сторону. Лосиная выделанная шкура плотно окутывала легкое тело, но мальчик твердил:

– Холодно, холодно. Вода, – бредил мальчик, пытался стиснуть мелкие зубы, а невидимая вода заливала его рот.

– Что видишь, найденыш? – спросил старик, внимательно разглядывая тонкие, словно смазанные черты, выпуклые веки с мечущимися под ними глазными яблоками, серые в бедном свете щеки, ломкие светло-русые пряди, свешивающиеся на лавку. Поднял руку, крепкую и жилистую, белокожую, без старческой гречки. В руке ольховая щепочка, наполовину покрытая бугристой корой. Провел щепочкой над телом больного, от больших не по возрасту ступней до шеи, выглядывающей из-под рыжеватого лосиного меха: туда-обратно, туда-обратно. Мальчик затих, глаза под веками успокоились, щека мирно приникла к широкой лавке, покрытой резко пахнущей шерстью. Через мгновение забормотал еле слышно:

– Рыбы. Ласковые серебряные рыбы. Они обнимают, они повсюду: под головой, на груди, за спиной. Рыбы свили для найденыша гнездо из своих тел. Они прижимаются гладкими мягкими боками, согревают, гладят плечи плавниками, щекочут ступни и ладони, а кровь быстрей бежит по жилам. Они целуют в лоб круглыми ртами, пузырьки воздуха щекочут уши и ноздри, это не воздух, это память толкается в висок. Уже не больно. Голова не болит больше. Ногам тепло. Тепло. Тепло. Я согрелся. Я спать хочу. Вольх, зачем ты вынул меня из серебряных рыб, зачем нашел меня на краю поля под сосной? Не буди, дай выспаться. Спать, спать насовсем.

– Что видишь дальше? – старик наклонился ниже, голос подростка еле слышен, вот-вот целительный сон подхватит его и понесет по бескрайним безводным рекам.

Но молчал больной, замер, уплыл в сон без сновидений. Старик отложил щепочку, освободил узенькую грудь мальчика от тяжелой шкуры, чтобы спящему легче дышалось, и в раздумье уставился сквозь проем на улицу.

Ольха видна и отсюда. Землянка построена таким образом, чтобы можно было всегда видеть дерево. Громадная серая ольха, не меньше десяти саженей в высоту, ее семечко занесено одним из ветров, шаловливым Стрибожьим внуком, неведомо откуда и неведомо когда. На заросли зеленой низкорослой ольхи, растущей подле, она глядит как Великая Богиня на испуганную, трепещущую под ее взглядом толпу. На ветвях величественного дерева развешаны пояса и убру-

сы-полотенца. На нижних полотенцах вышивка горит яркими цветами, на верхних, повешенных давным-давно, когда дерево было не таким высоким, – узоры поблекли от дождей и снега. Рядом с ольхой бежит-бормочет родник, а значит, шепчет сам Род-батюшка, не велит забывать старых богов. Ящер-коркодел, свирепый северный Чернобог, сует морду на свет из быстрой воды – довольно ли уважения от здешнего жреца, хватает ли подношений и страха от простых обитателей? Не запереть ли воду, если что не так, не пора ли просить сладкой крови и густого масла? Улещая Ящера, под высокой ольхой у светлого потока рядком выстроились дары, принесенные окрестными жителями затемно: туески с рассыпчатыми кашами, пышными толстыми пирогами и яичницами – помнят люди, боятся.

Из зарослей низкой ольхи донеслось встревоженное стрекотанье сороки, скоро и сама нарядная птица вспорхнула и полетела к землянке. Кто-то пробирался по еле заметной тропинке меж кустов, вот уже слышно, как потрескивают сухие прошлогодние шишечки под ногой. Вольх успокоил птицу:

– Ну что, суета суетовна, опять ябедничаешь? Не бойся! Это пожаловал в гости и твой покровитель тоже.

Сорока не поверила, но, облетев по кругу поляну с ольхой, отважно устремилась в заросли. Невысокий человек с круглым объемистым животиком, который казался еще круглее в сочетании с тонкими ногами, в запыленной рубахе и на-

кинутом сверху, несмотря на жару, теплом суконном плаще, выкатился из кустов и радостно устремился к землянке, не обращая внимания на священную ольху и быстрый родник.

– Торопишься, Щил, – с легким осуждением приветствовал друга Вольх, – а все одно опаздываешь. Я ждал тебя позавчера. Осталось три дня до праздника.

Гость осмотрел белую льняную рубаху хозяина, почесал плечо, взмокшее под тяжелым плащом, и отвечал, скрывая смущение и перебивая сам себя:

– Тут, дело какое, корову дуло у знакомой портомои, корову лечил, понимаешь. Толстая такая корова, справная, рога красные. Что, вилы-русалки прилетали к тебе на поляну? Задержался на пару дней, да. Точно, вилы были, вон все пояски на ольхе перекручены, качались на поясках-то. К перелету готовятся, слышал, куда полетят, после Русальей недели? Они, как птицы, улетают на юг, далеко, за Тавриду, за Колхиду. Их там по-другому называют, не русалками, не вилами, а сиринами, не то сиренами. Наш дружище Бул помнит, как правильно называть. Сам недавно узнал про сиринов. Народу-то в городе скопилось невпроворот, из разных земель, сколько наречий услышишь, сколько полезного узнаешь, памяти не хватит. А то, что они, вилы то есть, до будущего года под землей вместе с птицами хоронятся, у Велеса Подземного – это суеверные бабы выдумали, точно тебе говорю – бабы. Помыться бы мне, а? И рубаха вот… – гость, которого хозяин именовал Щилом, а не Гудилой, как звали

его другие, хлопнул себя по лбу – то ли комара прибил, то ли память пришпорил. – Да, что найденыш-то твой? Получается аль нет?

– Что же портомоя тебе рубаху не постирала? – ехидно поинтересовался Вольх и направился к отдельно стоящей маленькой баньке. – Или чем другим плату берешь? За коров-то?

– И ты туда же, – обиженный гость плелся за хозяином по тропинке, отвоеванной у неприхотливого калгана и клевера. – Рубаха еще на этой неделе чистая была, ей-ей! Даже не удивился тому, что я тебе про сиринов рассказал. И найденыша прячешь от меня.

Вольх знал все уловки друга наизусть, бесхитростная манера укутывать смущение пеленой слов сохранилась еще с тех пор, как они были мальчиками, а взрослеть Щил не собирался категорически. Забывшись или увлекшись, вполне мог перепутать собеседников и пускался рассказывать байки для легковерных искушенному. Но подлавливать его – все равно, что у ребенка игрушку отнять, и Вольх ответил:

– Ну удивил вилами-русалками. Они нынче каждую ночь прилетают нивы росой поливать, их же неделя перед Купалой, перед праздником. Такого тебе настрекочут, как сороки, лучше всяких чужеземцев. Но что-то ты все болтаешь, в баню не торопишься, а ведь натоплена, квас на травах припасен обливаться. Или баня тоже суеверие и мыться бабы выдумали?

Гость слегка покраснел, очертил короткопалой ладошкой по воздуху охранительный знак от злыдней. Обратился к хозяину:

– Погоди, Дир, – тоже не тем именем, каким звали кудесника люди, – дай дух с дороги перевести. К словам цепляешься… Бабы, понимаешь… Как тебе не скучно-то одному, без бабы? Или ты правда с русалками того… Правда?

– Что – того? Разговаривал? – язвительный Вольх подавил ухмылку. – Правда, что такого. Ты разве не говоришь с Велесом, не советуешься насчет коров?

– А то, знаешь, – заторопился гость, – говорят, у них все женское чешуей выстлано и спать с ними, как с человеческими бабами, нельзя, чтоб кровь себе не пустить…

– Не разберу иногда, – задумчиво проговорил Вольх-Дир, – когда ты придуриваешься, а когда серьезно говоришь.

– Я и сам не разберу, – беспечально согласился гость и тотчас спросил с напором: – Почему про найденыша молчишь?

– После расскажу, – Вольх отвел глаза. – Вот за стол сядем… Он и родился-то для света только сегодня.

5. Говорит Ящер

Они думают, эти человечки, что, храня в тайне настоящее имя, сумеют избежать беды. Кудесника называют Диром только двое друзей-побратимов, из тех, что отроками учились с ним вместе у старого жреца Веремида. Но и Дир –

не сущее имя, так, школярская кличка. Трое неразлучных друзей: Дир, Бул и Щил. Мне нравится звук этих трех имен, словно ящер щелкает клювом, потому я приглядываю за ними. Нет, не помогаю, это было бы чересчур, но бывает любопытно наблюдать. Жалко, если этот звук Дирбулщил увязнет в глине времен, вода отступит, глина рассыплется… Старик Веремид знал о жизни кое-что, передать никому не захотел. К чему? Я его понимаю. Каждое следующее поколение волхвов немощней предыдущего. Малую толику знания Веремид раскрыл одному из учеников. И то напрасно. Не того выбрал. А что еще ждать от человека?

Щила – Гудилу для чужих, и это имя ему подходит больше – изгнали из высшего жреческого сословия, какой из него жрец, смех один. Третий, Бул, неведомо где рожденный, полез вверх, ногти у него крепкие, как у всех безродных. Авось, одолеет частокол вкруг княжьих палат. Ради сытой и пьяной жизни собирает за морем новости для князя, вызнает планы, не брезгуя слухами, подвизается во дворцах, а глядит простодушным песнопевцем Соловьем. Бессребреником. Дескать, себя готов прозакладывать за песни-кощуны да гусли. Втихаря разнюхивает тайны пуще лазутчика, для князя старается, но еще вопрос – для какого князя, старого или молодого, Олега или Игоря? Лучше бы Веремид выбрал Була, не просчитался бы. Нет учеников надежней карьеристов.

От затеи трех мальчишек побрататься все же была польза,

для меня польза, другой пользы не бывает: душистая кровь в чаше была. Они резали ладони, и кровь стекала, жирно поблескивая. Несколько глотков, но и они согрели мои жилы, у мальчишек кровь горячая, у этих так просто кипела. Веремид знал. Он выбрал старшего, корела, в преемники, хоть сам был урманского роду. Потом станут говорить – норманнского. Веремид и дал им имена. Корелу – имя Дир, то же, что у славянского воеводы, друга Аскольда-урманина. Веремид знал (люди скажут – предвидел), что первого Дира зарежут на юге воины князя Олега. Олег хитер, как змей, сам почти как ящер. Он пришел на юг, под стены Киева, где сидели Аскольд, назвавшийся конунгом, с первым Диром, славянином. Разве могут быть на одной земле два конунга? Даже три. Потому как Аскольд с Диром на равных владычили, дурачки. Один конунг на земле, один! Но Олег быстро приспособился к местным условиям – уж не конунгом себя нудит величать, как принято среди урманов, а великим князем, не то – Каганом, это уж чтоб хазарам понятно было. Стало быть, присел под Киевом и обманом вызвал недалеких друзей к своим ладьям – а кто же выходит из городской крепости без надежной дружины к чужакам? Вчерашний соратник, как же! «Вчера» у правителей – не бывает. С добром пришел – ну-ну, мало ли, что еще скажет! Слова – это всего лишь слова, верить надлежит лишь силе. Да зарезал-то их, дорогих вчерашних соратников, тоже хитро, будто не по своему желанию, а во имя малолетнего Игоря как истинного правите-

ля. Хорош правитель Игорь – без власти старится, а Олег всем заправляет. Скверно, что столицу Олег перенес в Киев, моя собственная власть пострадала от того. Да, Веремид знал, как примет смерть от Олега первый Дир, и назначил второго Дира, своего ученика, вестником князевой смерти. Открыл ему предсказание о гибели Олега от любимого коня. Но не сразу наказал передать пророчество, а не раньше, чем законный наследник Игорь в силу войдет и от силы нерасходуемой утомится. Дир первый от князя Олега смерть примет, второй же Дир сам князю смерть явит. У человечков, в данном случае у Веремида, это называется чувством юмора; это то, что не существует, мнимая величина, как вчерашний день. Дир-преемник изъясняется как истинный жрец: длинно и неловко. Утомительно для человечков. Дир слишком поздно выучил общий язык горожан. Корелы медлительны.

6

Намытый, распаренный гость сидел за столом напротив хозяина и жалостливо поглядывал на спящего у стены мальчика.

– Да, слаб мальчишка, плохонек. Как родиться заставил, от рыб, конечно?

– Конечно, – подтвердил Вольх, выставляя на стол горшок с зеленоватой пузырящейся гороховой кашей и деревянную миску со свежей зеленью. На боку миски быстро лете-

ла чудесная птица, глядела на гостя нарисованным круглым глазом, другая птица клевала золотую травку красным клювом: угощайся, Гудила, поешь со мною, погуляй со мной, спой, станцуй мне, Гудила, пригладь мои перышки, красные да черные.

Но Гудила неодобрительно покосился на миску:

– Ты меня с моими подопечными не путаешь, дело какое? С коровами и козами? Им такие ухлебы впору. Нет бы гостя медком хмельным да мясцом вареным-жареным угостить, и Хозяину плеснуть за здоровье мальчонки. Мы – волхвы, нам и перед праздником не воспрещено.

– Разговор предстоит серьезный, – Вольх отказывал нерешительно и, подумавши, достал кувшин – не с медом, а с дорогим вином, привезенным из-за моря. Стоял кувшин, как нарочно, недалеко наготове. Перед праздниками ручеек подарков и подношений обычно сильно разливался, иногда Вольх находил у развилки за поляной богатейшие дары, оставленные скорее всего богатыми купцами или мастерами. Самих дарителей видел все так же редко, без нужды никто не шел к суровому волхву. Вольх надеялся, что, выпив, друг обойдется без своих шуток, если же нет, то он сам сможет легче переносить их.

– Скажи, как судят в народе о Змее?

– О князе Олеге, то бишь? – переспросил Гудила, шумно вдыхая и не отводя от кувшина очарованных глаз.

Вольх медленно наполнил большую конусообразную ча-

шу душистым и тягучим фиолетовым вином, густым, как толченая смородина, и таким же ярким, добавил воды, так же медленно размешал, перелил в чашу поменьше, плеснул на пол – Хозяину, громко отхлебнул и хмуро взглянул на друга, передавая напиток:

– Ты никогда не приучишься к осторожности!

Гудила поспешил отхлебнуть в свою очередь, зажмурился от удовольствия, почмокал губами и ответил просто:

– Не понравилось, что называю прямо, без этих «змеев» обхожусь? А я никого не боюсь. Потому что Гудила-дурачок никому не опасен. Бродячий ведун, без своего идола, без святилища, без силы. А значит, без власти.

Крупный, не меньше трех пядей, черный гивоит выполз из угла, блестя жирным гладким телом, поднимался на вывернутых лапах – поглядеть на волхва без идола, напомнить хозяину землянки о себе, попить молока. Не дождавшись лакомства, тек к выходу – жаловаться Ящеру, жрать лягушат, звать недолю к забывчивому хозяину.

Гудила отпил еще и сделался мрачен, в дорогом вине ненужных воспоминаний больше, чем хмельного веселья. Воспоминанья сочились словами, и не нужны были ни Гудиле, ни Вольху, но молчать не хватило сил. В который раз жаловался другу, что теперь его дело – чижиков обучать, коров лечить. В который раз вспоминал, как ходил перед Купалой во главе большой ватаги от деревни к деревне, как танцевали его русальцы «на урожай», как стучали высокими жезлами,

прыгали над нивами, скакали с красными девушками, ели от пуза, пили что поднесут, и такое же вот дорогое вино пили, и драгоценный многолетний ставленый мед, потому что деревни мало не поднесут – всем хочется урожая, а значит, надо угодить русальцам. И как весело, как звонко плясалось и вертелось под дудки и сопелки, как бренчали, как играли бубенцы на запястьях и рукавах, как ходили струны гуселек под его пальцами. И пытался себя перебить, спрашивал об отроке-найденыше, но Вольх не отвечал, и Гудила возвращался к бубенцам, к увитым хмелем жезлам, и уже чуть было не стал жаловаться на свое нынешнее прозябанье, но Вольх перебил, знал, что после таких признаний будет стыдно обоим.

Вольх заговорил о городе, известил, что на Купалу будет в Ладоге большой сход, больше тыщи народу, а то и втрое, все-таки доходят до Вольха новости, может, правда, сорока на хвосте приносит, может, русалки.

И не удержался Гудила, захвастался своими новостями, неужели у него их меньше, как-никак, он везде ходит, а друг на месте сидит, развязал Гудила тугой мешок, вытряхнул:

– Слышал, Дир, слышал про большой сход. Говорят, князь Олег приедет из новой столицы Киева на праздник Перуна. А я думаю, судя по суете в городе, да и другие приметы есть, что явится он раньше, на Купалу, сам явится и жена его, Шелковая дева Силкисиф. Поведет она рукавами впереди боярынь, вперед молодой княгини Ольги браслетами зазвенит, желтая да пустая пойдет раньше огулявшейся козочки.

И то, если князь-Олегу быть на празднике, – ей надобно лично в игрищах играть, иначе – никак, порядок такой. Найденыш твой, поди, не видал никогда столько народу.

Увлекшемуся Гудиле все равно кому врать. Начав речь, тотчас позабыл, что друг знает все его изворотливости, и болтал самозабвенно, не замечая гримасы неудовольствия на лице Вольха. В конце концов тот не выдержал:

– Хватит! Просил же не называть вслух тех, кого нельзя. Говори о Змее вместо имени. Не боишься за себя, подумай о найденыше. Спать-то он спит, но кто его знает, что слышит.

Простоват Вольх, дремуч, как его лес. Но гонору! Важности! Гудила, однако, спеси не выказал, чуть уколол:

– Ты, Дир, пуганый стал, как первотелка. С чего? Мудришь с учеником: как это он спит – и не спит?

Внезапно Гудила замолчал, испуганно прикрыл рот пухлыми ладонями. Ему и задумываться не надо, чтоб сообразить. Беда с этими мыслями, шныряют, как муравьи, в голову бросаются. Округлил глаза, заторопился, забормотал заклинание от злыдней подслушивающих. Ухватил чашу, сделал ощутимый глоток, закашлялся и пояснил:

– Не в то горло пошло, значит, Велесу. Усылаешь найденыша в тот мир? Научился? Потому и не хочешь говорить о мальчонке… А он сможет вернуться обратно? Нешто не сможет, раз ты научился… Потому боишься, чтобы он не сболтнул в том мире лишнего.

Вспомнил Гудила, что в том мире, там, в дивном нездеш-

нем вертограде, за один стол на вечном пиру запросто усаживаются и князья, и воины, и чернь. Все равны, и росту одинакового, и возраста. Даже зубов во рту у всех поровну. Вот как! И найденыш может встретиться с самым первым князем Ладоги Рюриком, сесть с ним рядом, пить из одного кубка по кругу. Давно ушел Рюрик за радугу, высоко-высоко ушел он, пусть прах его лежит низко. В глубокой пещере под землей волхвы укрыли тело, не преданное, как положено, огню, хотя князей и воинов от века хоронили в курганах. Не ведал Гудила, зачем Рюрика в пещере похоронили. Разве только чтобы сокровище стеречь? Вот и приказал первый князь перед смертью нарушить для него самый важный воинский обряд: не жечь погребального костра, не насыпать над прахом кургана. Его могилы теперь не отыщет несведущий. А учитель Веремид, поди, знал, где похоронен Рюрик, учитель все знал, но Гудилу не посвятил. Наверное, Дир знает, но не скажет, не положено Диру… Перед смертью поручил Рюрик своего малолетнего сына Игоря другу и родственнику, шурину. Главной женой Рюрику была Ефанда, родная сестра Олега, сегодняшнего князя. Друзья вечно норовят жениться на сестрах друг друга, чтобы скрепить свой союз и сохранить тот же союз меж своими детьми, да получается это далеко не всегда. Скверно получается. Хотя по урманским понятиям дядя по матери ребенку ближе родного отца. Олег опекал Игоря-племянника, правил от его имени, пока тот мал был. Мудро правил, что говорить: Русь собрал. Но вырос племян-

ник, а дядя и не думает власть передавать. Может, считает, что мало Игорь вырос – не годами, а умом; может, власти жалко. Сидит Игорь в Ладоге, как в изгнании, что простой княжеский посадник в ведомом городе. И Ладога уже не столица, Киев – столица. А Рюрик не ведает о том, потому что в пещере лежит, а пещера, знамо, – не сопка, оттуда не видно ничего. Вот лежал бы в кургане, другое дело. И тут найденыш заявится в небесный вертоград – здравствуйте-пожалуйте! Передаст Рюрику за столом все – как тут у нас. Рюрик-то и обидится за свою родную кровь, за отпрыска, за то, что к власти его Олег не пускает. Вещий-то Олег – вещий, но сейчас, похоже, просчитался, переборщил. Нельзя было Игорю поручать дружину собирать, искушение большое, когда сила под рукой.

Гудила сам не заметил, как принялся думать вслух, серьезные мысли всегда лучше вслух отливаются. Вольх встал, гневно хлопнул в ладоши, который раз призывая к осторожности. Гудила не унимался, продолжал болтать, но заговорил потише:

– Ты дошлый, Дир, хочешь в княжьи дела влезть. Ладно, раз такое дело, пошли на улицу, к ольхе твоей под охрану, не стращай меня глазами-то. Хотя по мне – дом надежней защищает, вон сколько солнц под окнами нарезано, навьям ни в жизнь не просунуться. Вы же, кореляки, только деревьям и доверяете. Почему ольху выбрал, не понимаю. Прочие твои соплеменники все березам поклоняются. Да идем уже, идем.

Вот еще глоточек вина твоего колдовского примем – и пойдем. И молчу я, молчу, словечка же вымолвить не дашь.

7. Говорит Ящер

Эти вместилища сладкой и восхитительно теплой крови иногда способны говорить подолгу. Признаться, меня развлекает неприхотливость их мысли, их попытки объяснить сущее. Все они, и жрецы тоже, верят, что за порогом небытия ожидает иной, чудесный мир: вечноцветущий сад, или богатый лес, или поля битв без поражений – у каждого племени свой «верхний» мир, тот мир. Им невдомек, что они так и останутся внизу, под землей, гниющей ли плотью или пеплом погребального костра. И ничего не будет. Они верят в упырей и навьев, в преследующих их убитых врагов и в души предков, они видят их воочию и терпят от них беды или получают помощь, не подозревая, что создают призраков своим собственным убогим умишком. Они считают жирную черную ящерицу, которую зовут гивоитом, или живоитом – от слова «живот – жизнь» – воплощением меня, главного бога, черного бога. Смешно. Кормят этих унылых холоднокровных тварей, бывает, что и в собственных жилищах. Мне доводилось получать удовольствие от обряда, когда они в особые дни с почтительным трепетом удаляются из дома, оставляя жирным ящерицам плошки с теплой кашей. Но редко, редко. Они недостаточно заботятся о самом цен-

ном в себе, они жадны. Я не вмешиваюсь. Я не требую. Хотя всегда могу взять больше, чем они выделяют.

8

Родники оставались самой звонкой памятью Рода. Давно не горели огни в его честь, один век наплывал на другой, имя Рода почти забылось, и бог Сварог прочно утвердился во главе, сам стал огнем. Иные жрецы поклонялись Сварогу в образе Стрибога, но это все был он, Род, пусть простые люди уже не помнили историю богов и путали образы. И маленькие домашние деревянные и каменные деды тоже были Родом, но домашним, своим для каждой семьи. Род, родня, родоначальник – первый бог, главный бог. Удивительно, что память о Рожаницах-Прародительницах сохранилась лучше, хотя они появились раньше. А еще удивительнее, что память о Рожаницах сохранится навсегда, записанная искусной деревянной резьбой наличников и крыши, кружевами и вышивками мастериц, их узорами, которые будут передаваться из поколения в поколение, от матери к дочери, от отца к сыну, утрачивая первоначальный смысл, но сохраняя очертания. Но родники пронесут память о Роде в самом своем названии, в имени.

У священного дерева с родником Рода, под его не заглушаемое голосом реки ясное журчание и легкий звон высоких трав Вольх постарался растолковать свою беду суетли-

вому другу. Не получалось сделать ученика из найденыша: неведомая болезнь сидела у того внутри и не желала уходить, несмотря на старания волхва. Мальчик не помнил прошлого. То, что Вольх выудил из его снов, походило на правду, как крошки слюды походят на соль: род мальчика был уничтожен целиком, деревня сожжена, а он сам брошен похитителем, неизвестным варягом, да не просто варягом, а высоким предводителем, чуть не конунгом, у реки, там, где поле подходит вплотную к сосновому бору, недалеко от Ладоги. Брошен, потому что сочтен непригодным для продажи купцам. Вольх нашел его, спящего беспробудным сном, на Радоницу – крылатые псы семарглы показали, а семарглов попробуй пойми, у них и языка-то нет. Кудесник сумел извлечь отрока из сна, продолжавшегося долго, как у медведя; сна, во время которого дыхания почти не слышно, а сердце стучит тихо, как у деревьев. Кора ольхи помогла разбудить мальчика, а залезать в чужие сны Вольх умел сам. Но сны отрывисты и летучи.

Наверное, род найденыша жил далеко от Ольховой реки Волхова, хотя упоминания о нем всплывали изредка, как рыбы в бедном для рыбалки месте. В роду отрока старики рассказывали о реке, перегороженной Змеем, не пускающим воду и чужие суда. Вольх догадался, что речь шла о городе с крепостью на берегу. Именно так срублена крепость в Ладоге: на мысу, чтобы можно было кинуть цепи с одного берега на другой и закрыть путь незваным гостям. И значит, Змей

мальчика – тот же Змей, что и у Вольха, хотя давным-давно сидит не здесь, а в новой столице Киеве. Олег – имя тому змею, но говорить об том не следует вслух. Какая-то большая вода была все же рядом с поселением найденыша, без воды людям не выжить, а как же иначе. Потому что, по представлениям мальчика, Змей приплыл по воде и пожрал род. Змей плыл и махал крылами, двенадцать пар плавников попирали волны, горели под солнцем крутые блестящие бока, грозный клюв тянул свое жало высоко над водами, стекали мохнатые шкуры с хребта.

– Малыш бредил, – печально заметил Гудила, – но какая фантазия!

Вольх, забывшись, потянулся за кубком, но кубок остался в землянке, и руке ничего не осталось, кроме укоризненного жеста с воздетым указательным пальцем.

– Нет, не бред и не выдумка. Малыш видел обычную ладью. Но видел первый раз в жизни, потому и принял за Змея, о котором ему рассказывали родичи. Но этот приплывший Змей найденыша – не наш. Какой-то варяг, пришлец из-за моря, пошарил по окрестностям, а княжья дружина проглядела вора. Наш Змей силен, не потерпит обиды от чужих ни для себя, ни для народа, он заботится о горожанах и подначальных племенах. Но сидит далеко, в Киеве. Наследника к власти не пускает, а тот тоже силы жаждет, копит силу. Пришлецы округу запрудили. Варягов развелось что сорок в лесу. Почему и спрашивал у тебя, какие слухи ходят,

знаю, многие недовольны. А уж племен собралось в Ладоге, а невольников! После удачного греческого похода купцов набежало и своих, и чужеземцев – к тем, что уже были. Так и осели здесь. У них в дому, в их городах-странах, войны, много не наторгуешь, разве в убыток. А у нас в Ладоге – мир, торгуй – не хочу! Парчовый путь в греческую землю что торная дорога стал, ни пороги речные гостей не пугают, ни разбойники. Реки не видно под ладьями, кувшинке некуда лист выпустить. А здешние племена страдают. Тесно стало на Нево-озере, охоты не стало, рыба не та, что встарь.

Черный гивоит выдвигал треугольник головы из-под толстого корня дерева, полз ко вкусным дарам, оставленным на рассвете под ольхой робкими жителями ближней деревни, лизал пироги и каши. Мягкое пятнистое брюхо волочилось по земле.

– Пошел, падеро, не тебе оставлено! – закричал Гудила, замахал руками, затопал ногами. – Дир, почто не прибрал подношения? Меня травой потчуешь, а у самого яичницы тухнут, мокрые змеи пирог растаскивают!

– Волхву немного надо. А гивоит – животное священное, Ящеру родня. Хотя любить, Щил, должно всякую тварь!

Гудила между тем спугнул ящерицу, поднял с земли румяный пирог, обтрясая от приставших травинок, обломил подгорелый бочок и бросил под ольху, кусок получше, но поменьше – в родник, пришептывая: «Покушай, батюшко», остальное запихнул в рот. Крошки каши, полезшей из пиро-

га, обильно осыпали его бороду.

– Всяку тварь любить, говоришь? А людей? Что ты злобишься, брат, на пришлецов серчаешь? Ведь Ладоге польза от купцов, город богатеет, люди живут лучше. Говори, Дир, про отдельных людей, этого купца и того невольника, а не о людях вообще во всем городе сразу. Людей всех вместе, чохом, судить нельзя. И любить их всех вместе трудно.

Вольх покачал головой, скупо улыбнулся – эва, заворачивает побратим, что тебе греческий посол:

– Ну спасибо, разъяснил. Торопишься, Щил, как всегда. Только-только хотел рассказать о госте, не купце, нет. Недавно мимо проезжал – из тех, что у себя под седлом при любом перегоне баранье мясо держат, чтоб мягче было, отбилось под ягодицами всадника, и едят потом тухлое душистое – спрашивал тот гость о младшем подколенном князе. Не хочет ли, дескать, народ, чтоб у власти настоящий наследник сел.

– Печенег, что ли, заскочил? – уточнил простодушный Гудила. – Так и говори, устал я от обиняков, – задумался, почесал пятерней бороду снизу вверх. – Нашел политика – печенег, ишь ты! У них ума не хватит, даже если вместе с конями мозги считать. Случайный гость, шальной какой-то. На своих кожах печенегам наши речные пороги не одолеть, а по суше – кто их пустит через юг. Булгары не спят! Хоть они и плодятся, как мухи, говорят, прямо из болот рождаются, одного убьют, десять вылезут. Нет, не мог здесь печенег объ-

явиться.

Вольх не стал спорить, то ли вина маловато оказалось, то ли торопился закончить удивительный рассказ о найденыше. Коротко заметил, что о госте рассказал к тому, что не он один предчувствует перемены. Недовольство князем зреет, слухи летят далеко, к друзьям и врагам, на юг и на восток. Тут-то найденыш и сумеет помочь, потому и пытался его в ученики определить. Мальчик, пока спит, может побывать в любом месте, может видеть грядущее и предсказывать. Но стоит ему проснуться, накидывается чудная хворь и ну жрать.

– Сдается мне, – медленно говорил Вольх, пока Гудила подметал оставшиеся пироги, – учеником его уже не сделаешь: видел много лишнего в своих снах, ученикам неположенного; сам по себе, один – пропадет; жить, как другие, не сможет. А пока на моей лавке спит-путешествует, оно и ничего. Я его заново родиться заставил, через рыб, знаешь. Зря хлопотал, не принимает земля, а значит, и люди не примут; одна ему дорога – в тот мир. Но здесь попробовать надо еще раз, вдруг ошибся, а ну как в этом приживется. Если же нет, придется его туда послать навсегда.

– Ты что, Дир, пусть мальчонка болеет, но живет! Здесь живет! Не больно-то я верю в радости того мира, то есть верю, чур меня, но тут-то лучше. Вертоград того мира за радугой прекрасен, сады и столы там одинаково богаты, а люди равны. Но здесь тоже неплохо бывает. Что до жертв… До

отправки в тот мир… Кто говорит… Жертвы нужны, и тут нам, жрецам, нож в руки. Да только, знаешь, дело такое… Я и петуха зарезать не могу, медом да маслом жертвы приношу, никому не говорил, стыдно же, тебе скажу, ага, дело видишь такое, серьезное. Не приноси мальчика в жертву!

Гудила разволновался, по его пьяненькому мятому лицу поползли слезы, безнадежно теряясь в бороде. Высоко в плотной зеленой кроне ахнула, должно быть, русалка, бросила вниз высохшую прошлогоднюю ольховую шишку, зашуршала плетеными поясками на ветвях.

Вольх успокаивающе поднял ладонь:

– Не готовлю найденыша в жертву. Он будет жить, и сердце будет стучать, и кровь бежать по жилам тихо-тихо. Но если ему лучше спать, зачем будить? Пусть спит и ходит туда, куда не дойдем мы, я не про Верхний мир, или твой Дивный вертоград, куда отправляются умершие люди, а осенью – перелетные птицы, я говорю о грядущем. Отрок обгонит нас на несколько лет и зим, передаст, что увидит там. А мы, просеяв его рассказы, как муку для хлеба, сможем отвращать беды, предупреждать о них причастных. Или решать, стоит ли предупреждать…

– Мудрен ты, не по мне, – пожаловался Гудила. – Или вина мало оказалось. Жалко ведь мальчика. Но дай же и мне попробовать прогнать его болезнь, авось поправится. Я такие травы знаю, любого на ноги поставят, – Гудила в смятении схватил друга за плечо, Вольх нерешительно кивнул, и

толстяк затараторил о другом, быстро и пьяно, отводя судьбу, улещая ее, заговаривая.

– А не зря тебя все же русалки привечают: ходят, пояски на ольхе крутят, качаются, играют. Вилы хоть и не бабы, да женского полу, просто так прилетать не станут: либо по любви, либо за бусы. А у тебя – откуда дорогие бусы, у тебя только пироги. Может, они тебе и белье моют? Ножками да крылышками… Трутся коленками по лосиному одеялу. Вот поглядеть бы! – И так же, между делом, скороговоркой, пробормотал: – А что ты такое сказал о грядущих бедах?

Вольх помедлил. Не то чтобы он не доверял другу, при всей своей болтливости и дурашливости тот умел молчать и многим отводил глаза показным легкомыслием. Лишнее знание опасно для Гудилы, рисковать другом – хуже нет, но одному не справиться, Вольх это понимал. Потому и позвал, но сейчас оттягивал момент признания, ждал знака от священной ольхи и не дождался. Заговорил просто, словно сам не призывал к осторожности:

– Беды всем нам, несчастье – избранным. Несчастье – князю Олегу. Знаю. А надо ли предупреждать его – никак не решить. Вмешиваться в эти дела, ты верно заметил, опасно; лучше, чтоб все шло своим чередом, как Род с Рожаницами положили, – Вольх отвернулся и рассыпал по земле кашу для приятельницы-сороки. Но та не спешила спускаться с ольховой ветки, присматривалась; заметив гивоита, возмущенно застрекотала. Обиделась на конкурента.

– Значит вправду знание тебе печенег принес, – неожиданно проницательно заметил Гудила и взглянул на друга совершенно трезвыми глазами. – Зря их разумом обделял, хватил от тебя высокомерия, заразился. Кому беда на руку? Та, что с вещим Олегом случится? Неужели князь Игорь с печенегами договориться думает? Молодой воевода Свенельд из Олеговой дружины перешел к наследнику, к Игорю. Это к чему? Не мог сам по себе уйти, без согласия вещего. Не доверяют наследнику. Или Свенельд хитрее советников, выжидает, кто верх возьмет: Олег, Игорь? Нет, не дадут Свенельду своевольничать. Да и предан он старому Змею. А что побочный сын князя Олега Асмуд – наставник наследника в ратных делах? Что о нем предвидишь? Почему князь Свенельда присматривать в Ладогу послал, не Асмуда? Ага! Править-то, значит, когда несчастье придет, наследник сядет…

– Молчи! Я не говорил так! – Вольх обернулся к дереву, ища поддержки. Не шелохнулась листва, лишь стрекотала обделенная сорока, перекатывала глаза-бусинки на кашу, намекала: не пора ли, вам, волхвам, по делам?

Гудила в сердцах топнул ногой, только пыль полетела над травой от ветхого сапога:

– Не так еще говорил! Кто князю Олегу смерть от любимого коня пророчил перед самым походом! Не ты? Да пророчество не сбылось, пал конь. А вещий Олег жив. Зато сам в лесу сидишь, не с князем за большим столом на совете. И то ладно, что голова на плечах, а не на колу в Перуновом ка-

пище. Не внял вещий Олег твоему предсказанию, хотя сам волхв. Под конем ты власть разумел, думаю… От своей власти князю погибнуть? Потому тебя князь Игорь не преследует, что старое предсказание ему по сердцу. А Вещему до тебя не достать из Киева. Здесь-то, в лесу, Дир, вдали от двора, чего боишься? Что еще за беда нас ждет?

– Увидишь, – печально ответил Вольх, – не зря по ночам на небе комета распускалась, как змеиный куст.

Поднялся и побрел к землянке, поглядывая на мгновенно потемневшее небо. Поднявшийся ветер принес запах воды и речных водорослей, примолкли птицы, сомкнула нежные лепестки розовая кислица.

– Погоди, вот приедет Бул из-за моря! А он приедет на праздник, – бормотал Гудила. – Что скажешь, коли он бороду бреет, это по какому обычаю: по греческому или по княжьему? Результат-то один, но что дружище Бул за основу берет, интересно.

Проснулись к ночи небесные хозяйки, свесили тяжелые груди, полные дождевого молока; брызнули первые капли, ударили по листьям, застучали чаще и чаще. Речная гладь разбилась, вздыбилась змеиными головками, пестрая нерпа высунула из воды усатую морду, заворчала довольно. Дождь принялся вылизывать спинки листьев, камней, ящериц, не пропуская никого и ничего. Радостно вздохнула поляна, заволновались кусты. Ухмыльнулись истуканы в своих святилищах за городом, вкруг них задымили, пригибаясь, костры.

9. Говорит Ящер

Все, все они станут серым порошком под землей. Знаю. Иного не существует. Чего ждут они от жалкого мальчишки, брошенного на берегу в те дни, когда прочие людишки жгут костры из соломы и кличут своих мертвых? Негодного мальчишки, которого не продашь и за мутную бусину, рынки переполнены такими, как он. Какого пророчества ждут, какое у мальчишки предвидение?! Разве человечек может пробраться в будущее? Глупость, прекраснодушие! О чем лопочут, скудоумные, вместо того чтобы плодить новую кровь, пить и совокупляться, покуда теплы их члены. Если я, великий, живущий вечно, всевидящий и следящий каждого из них, в каждом из них читающий, если я – я! – не способен заглянуть вперед далее нескольких ночей! Но они талдычат свое, толкутся на месте, не замечая запаха нагретой земли, забывая о ее плоти, которую примут когда-нибудь без радости. Мои влажные русалки, быстрые вилы напрасно пытаются разжечь их желание и похоть. Даже разжалованный жрец Гудила, чья жадность к творящим кровь напиткам и совокуплениям ублажает меня, отбросил нынче бремя плоти, как сухопутная ящерица хвост. Мне не согреться без их желаний, ленивые скупые твари. Их желания нужны мне так же, как кровь, как жертвенное масло, без их желаний я слепну и сохну, умаляюсь. Дайте мне свою жажду, дайте мне свое

вожделение – красную ярь, согрейте! Вижу, вижу, как едет Бул, и жадность звенит его браслетами. Я умею ждать. Еще согреюсь, захлебнусь теплым током, до самых ноздрей. Дождусь.

10

Княгиня Ольга, жена князь-Игоря, хорошо помнила тот белый снежный месяц. Муж не поехал в полюдье собирать дань, заленился. Река встала быстро, метели не досаждали, санные караваны, влекомые крепкими лошадьми, летели по речному льду много быстрей, чем летом ладьи, и всякое путешествие было в радость. Звенели бубенцы над Волховом, пар шел от мохнатых лошадиных спин, от теплых медвежьих полстей, укрывающих сани, веселые снегири блестели глазами и алыми грудками по прибрежным зарослям ивняка. Но Игорь послал вместо себя воеводу с городскими людьми, не дружинниками. Сам пирничал со старшей дружиной, упивался. Целыми неделями просиживал за столом, и в постель его приносили на руках, замертво. Просыпался поздно, пил квас, шептался с советниками. Молодой Свенельд, неизвестно за какие заслуги возведенный в советники, смущал княгиню пристальными взорами, не боялся прекословить князь-Игорю – все сходило ему с рук. Гнедка, любимого княжеского коня с длинной светлой челкой, седлали каждый день, но выезжал муж редко, даже охоту забросил. Рассудная княги-

ня Ольга томилась, и не было рядом светлого князя Олега, чтобы задать мужу укорот. Она не сообщала вещему Олегу о бражных подвигах супруга – к чему, что изменится? Да и мужа жалко: в серьезных летах, скучает по сущим делам, а сидит в Ладоге, как в ссылке. Личные гонцы княгини тоже обленились без дела. В кремле одни девушки были при работе: пряли бесконечную пряжу и, чтобы нитка ровнее шла, сосали кислую бруснику, мочили пальцы набежавшей слюной. Челядь шепталась по углам, что княгиня потворствует-де мужнину бражничанью, чтоб на власть не зарился, а искал доли в хмельном меду. Лестно им врать, что она дочь князя Олега, пусть незаконная, потому, чай, и Силкисиф, жена князя, ее не жалует. Но шептались без злобы, лишь бы языки почесать, верили или нет тому, что говорили. А звали ее меж собой славянским именем Прекраса, и то сказать, хороша княгиня: глаза серые с поволокой, брови шелковые черные и высокие, а коса в руку толщиной, цветом как старое золото, только редко кто ту косу видел, спрятана под расшитым покрывалом. Разве только никак не могла в тело войти: руки тонкие, сама что былинка.

Ольге неважно, что там за прялками щебечут девушки, о чем сплетничает челядь. От этой брехотни не станет ее любовь к вещему Олегу меньше, равно не станет и больше. Про сурового Асмуда тоже говорят – сын Олега. И про Асмуда неважно. Знает Ольга одно: Асмуду можно доверять, а более – никому. Их двое, они Олеговы всей душой, а кровью…

Кто знает? Дитя свое, если все же родится, Ольга доверит Асмуду, и себя доверит. А что похожи они с Асмудом меж собой, и брови равно летят к вискам, и глаза светятся серой водой Варяжского моря, так урмане все похожи меж собой, они урмане. Как Олег. Весело ей, когда Асмуд приходит, хотя хмур он бывает и строг и слова без нужды не скажет. Лицо его как темная изрезанная скала, отраженная в холодной воде фьорда, пусть не видела Ольга в своей жизни такого отражения, и фьордов не видела, но посмотрит на Асмуда – и словно видит. Старше он ровно вдвое, но Ольга чувствует – равный. Ничего меж ними не было сказано, ничего, кроме дела, но знают оба то, что за словами. Не только отражение скалы в заливе, не только гордая сосна на скале, не общая кровь, неважно, уже вспоминала – по роду ли, по племени, но общая новая земля, единая земля – будущее нерожденное государство, вынашиваемое ими вместе с помощью всех богов, словенских, финских, урманских: Русь. А бог… Ольга знает, это важно – единый бог для всех, для народа и князя, она научит, она приведет свою землю к нему, единому. И даже вещего Олега не послушает, если так будет нужно.

В этом они едины, это их связует крепче крови, Олега, Асмуда, Ольгу: их земля, Русь.

Княгиня лежала без сна на мягких перинах, ждала мужа. Нянька давно уж спала у дверей на лавке, сквозь узкое окно под потолком лился холодный серебряный свет, в нем плавали гибкие тени. В ивовой клетке, накрытой пестрым пла-

том, дремала дорогая заморская птичка ржавого цвета. Холод с запахом конопляного семени поднимался от каменного пола, залезал под полог, но княгине Ольге все казалось жарко, душно. Она откинула тонкую лебяжью перину, слушала, как воют волки. Их голоса далеко разносились в морозной ночи с того берега Волхова, где спала можжевеловая роща. Нынешней зимой волки пошаливали, забредали в город, резали телят, уносили овец. А к Нежиле-кожевнику забрался медведь-шатун, заел корову и чуть не покалечил работника. Тот пошел в хлев, встревоженный ревом, и застал косматого стервеника, объедающего еще живую буренку. Приходят звери по ночам в город, и вооруженная стража им нипочем, того гляди унесут дитя со двора. Звонко и отчаянно лаяли псы на морозе за высокими заборами.

Княгиня тяжело вздохнула, посмотрела на свое чрево, круглившееся под шелковой рубахой, но пустое. Которое лето живет с мужем, а дитя принести не может. На своей свадьбе, на пышном пиру, еще совсем девочкой она черпала горстью воду из ведра с опущенным туда деревянным удом, доставала его грубо вырезанный жезл и прижимала к губам влажную тяжесть, дружина ликовала и облизывала мгновенно пересохшие рты, муж и князь – Игорь глядел пристально, длинные усы бежали на красный подбородок. Запах хмеля мешался с запахами мяса, горящего масла и пота. Юная княгиня ждала срока, просила покровительства урманской Фрейи, длиннопалой нежной жены Одина, сопровождаемо-

го вещими воронами и волками, но не завязалось дитя, осталась княгиня без тяжести в то лето. Верно, слишком мала летами была, так и сказали мамки.

Следующим летом она, не забывая веру предков, обратилась все же к Ладожской богине, но и своенравная Мокошь Подательница Благ не наполнила ее желанной тяжестью. Сколько ворожей – обавниц, потвор, чародеек перебывало с тех пор в княжьих палатах, сколько петухов и овец принесено к жертвенникам норманнских, словенских, корельских – разных богов. Свободно чрево и упруги, как у юницы, некормившие груди. Не захочет муж терпеть дольше, другая займет ее место, станет княгиня побочной женой. И князь Олег не заступник в этом деле. Какого бога молить? Из отобранных шести девушек ее мужа, самых любимых, пригожих и белотелых, как княгиня, тех девушек, что ходили с ней вместе в лес на Ярилин день, понесли шесть: все шесть встретили и приняли в лесу бога в себя. Все, кроме нее. Ей реветь в пустоту, как яловой корове в хлеву, ей, бедной княгине, увешанной драгоценным узорочьем, одетой рытым бархатом, укрытой темными соболями.

Княгиня тяжело повела очами, уставилась на колючий луч месяца, целящий копьецом из окна на ее ложе, прижала руки к тоскующему чреву. Жар стеснил грудь, покатился под пояс, сбил рубашку. Стройные нежные бедра раскрылись лучу навстречу, принимая его в себя, загорелось лоно, звонко крикнула княгиня и застонала, выгибаясь на ложе, провали-

ваясь, подхваченная светом, вверх и вниз, замотала головой, разодрала ноготками перину. Алая капля крови чиркнула по молочной коже, по стегнам княгини, расплылась на скомканном покрывале малая жертва, засмеялись звезды.

Завозилась нянька на лавке, проснулась и тревожно окликнула свою госпожу. Молчит княгиня Ольга, лишь белый лебяжий пух кружится над постелью, лишь гибкие тени мелькают, ускользая в высокое окно. Лежит княгиня в беспамятстве, руки-ноги похолодели, как у мертвой. Лоб холоден, лишь грудь да живот пылают в лихорадке. Вскинулась нянька – послать за знахаркой, но князь-Игоря почивать несут. У князя голова на сторону свесилась, слюна бежит в густой бороде, серебрится, как седина, а седины уж в бороде немало. Положили князя, он не проснулся. Повернули князя на бок, подале от жены, и та не проснулась. Спят, друг дружку не чуют, не соскучились, верно.

Утром княгиня Ольга рано открыла очи, муж храпит на боку. Прислушалась княгиня и услышала, что с этой ночи отяжелела. Разбудила князь-Игоря. Тот квасу попил, о жене вспомнил, приласкал, чего давно не случалось. Днем еще неоднократно к ковшу с квасом прикладывался. Но пиры на убыль пошли с той поры. Княгине бы радоваться, да советники назойливые совсем мужу голову заморочили, а пуще всех тот, молодой Свенельд. Перестал князь рассказывать ей о делах, перестал делиться. А как узнал, что жена понесла, вовсе от дел отстранил. Не потому что боялся: светлому кня-

зю Олегу донесет, чего не следует, – оберегал Ольгу. Так объяснил.

Ребенок рано начал брыкаться в чреве, и пикливый такой оказался, словно копьецом торкает изнутри. А нянька говорила, что у других жен – как птица крылом. Если пикливый – не иначе великий воин родится, не иначе сам Перун, новый главный бог, жадный бог, его направляет, как отец направлял бы сына. Княгиня знала.

11

Ворожея Либуша стала захаживать в терем княгини Прекрасы недавно, прежде-то ее и на порог бы не пустили. Желающих оказаться княжьей ворожеей – вся Варяжская улица, женская ее половина, да сколько еще по лесам, да при капищах, да бродячих ведуний. Княгиня в конце зимы затосковала о лете и вспомнила красавицу девушку, что танцевала на Купалу во главе ватаги русальцев, а больше вспомнила ее шумящие подвески, лягушачьи лапки светлого серебра и пожелала их. Те же лапки, что ювелиры приносили, Ольге не нравились, подавай ей подвески плясуньи. Странные желания стали появляться у княгини.

Привели Либушу на женскую половину, в терем, подивилась она богатству, но виду не подала. А как подвели к княгине, сразу увидела, что та в тягости, хоть и незаметно еще было. Либуша подарила Ольге свои подвески с радостью и

платы не захотела. Мамки, няньки и девушки переглянулись, решили: непроста молодая ворожейка, на большее нацелилась. После, конечно, говорили, что как в воду глядели. Теперь молодая княгиня без нее двух дней прожить не может, сколько раз Ольга предлагала, чтоб Либуша в кремль перебралась, но без толку. А приказывать не хотела. Появились у Либуши богатые наряды и новые сильные рабы. Своих-то она чрез год службы отпускала на волю, и этих отпустит, если сами не захотят остаться, как уже остался садовник с дочерью.

В тот первый день вопрошала ворожея свою богиню Мокошь-Судьбу для княгини Ольги-Прекрасы. Та, как услышала, кому из богов служит ворожейка, тотчас приказала судьбу испытать. Либуша послала за своей чашей, прялицем и прочим ворожейным снаряжением: не брала с собой, не думала, что пригодится, гонец-то только про серьги спросил… Сидели вдвоем в громадном зале, лишь дружинник у дверей да верная нянька рядышком с княгиней. Нагадала княгине сына – великого воина, каких не было еще на Руси и в будущем наперечет. И хоть страшно было, но сказала то, что разглядела в глубине налитой чаши, где морщилось и клубилось мелкой золотой спиралью грядущее. Не лгать же будущей матери. Не потому сказала, что княгиня, – потому что мать. Сказала, что ребенок завязался от бога, не от человека. Засмеялась княгиня тихонько, словно вода, настоянная на сладких яблоках ранетках, в серебряном кувшине

плеснула, и согласилась – знаю.

– Не любите вы Перуна, – жаловалась княгиня, – а князь Олег старается, богатые пышные праздники в его честь устраивает: сколько бочек мельного медового варева выставляют, сколько жирненьких овец, бычков закалывают для города.

Либуша удивилась, что княгиня в первую очередь не о муже, а о князе Олеге заговорила, невольно припомнила слухи, что тот княгине не чужой, а может, и правда, что отец. Догадалась вот еще о чем: Прекраса считает, неведомо отчего, что Перун – отец ребенка. Но Либуше знать не надо, почему княгиня так решила, не ее ворожейское дело. Не стала растолковывать, что Перун хоть и словенский бог – тут Князь Олег верно рассчитал, не взял урманского, – но бог княжеский, дружинный, для простого люда не расстарается. Потому и недовольны в городе, что Перуна вперед других чествуют. Есть боги ближе. Чем поможет торговцу, ремесленнику или земледельцу бог воинов? Ничем. А привычные родные боги обидятся – им мало почета! Разозлятся еще, накажут. И тогда уже люди, не боги, обидятся на князя за своих близких богов и за неудачи, разгневанными богами посланные, а ведь на князей обижаться опасно и бесполезно. Удивительно, что вещий Олег не подумал об этом – или подумал слишком хорошо, все вперед просчитал, а ей, простой ворожее, не уследить за его мыслью. Вслух же сказала:

– Любить бога разве только князья могут, мы же богов –

почитаем.

Опять засмеялась княгиня – ну хитра, сладкоречива ты, Либуша, а уж осмотрительна! – приказала рыбки подать, щуки под чесноком и белужины вяленой. Рассердилась, что щуки не нашлось, забегали девки, потащили миски с рыбой, с лепешками, пироги с сигами и мнюхами. Либуша ела неохотно, неуютно себя чувствовала в тереме. А княгиня долго ее не отпускала, и говорили они о всяких мелочах: почему серебряные украшения полезней для беременных, сколько можжевеловых ягод надо в рассол класть, почему красивый синий шпорник для букета не годится. Не слишком богато одарили Либушу в первый раз, но через неделю за ней прислали снова и с тех пор присылали часто. Не скажешь, что Прекраса с Либушей подружились, как княгине с простой ворожеей подружиться, а все же привязались друг к другу.

В тот же день молодой советник Свенельд расспросил няньку, что нагадала новая ворожейка. Нянька без утайки передала все, что услышала: она верила советнику, ведь его прислал князь Олег. Наверняка Свенельд выспрашивает, чтобы настоящему князю передать. Кто служил вещему Олегу, тот его не предаст, как бы князь Игорь ни полагался на своего нового помощника, нянька подозревала, что это лишь видимость. Или глуповат князь-Игорь? Да какой он князь – жаден, труслив, лихость лишь за столом проявляет. Но какой-никакой – наследник. Пока. Потому вещий Олег и выдал за него Ольгу. А своего-то законного наследника, сына Шел-

ковой девы княгини Силкисиф, тоже Олега, заново назвал чужим именем Александр и посадил в Моравии княжить. На время ли посадил, дожидаясь удобного момента здесь, или нет, навечно – не по ее уму.

Много лет пройдет, вырастет сын Ольги великим воином, каких не было и не будет. Его слова, слова Святослава войдут в историю славы: «Не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут!», – и бросит его на Днепровских порогах под печенежскими стрелами воевода Свенельд, сбежав со своей частью дружины. Может, из трусости, чтобы себя спасти, но это странно, не труслив воевода, закален во многих битвах, сражался всегда в первом ряду. Может, зная о божественном происхождении князя и его неизменной воинской удаче, решит, что и на этот раз Перун поможет Святославу, но никак не Свенельду, и потому надобно позаботиться о себе и своих воинах, а князя поведет бог, не оставит же своего отпрыска; может, искренне полагал, что сын бога бессмертен.

12

Кожа у Силкисиф была тоньше паучьей нити, мягче камки, шелка, потому и назвали ее Шелковой девой. Коса же ее росла до земли и была толще древка весла. Красива Силкисиф и горда, отец воспитал ее достойной варяжской женой, но отвергала женихов одного за другим, все казались недо-

стойными ее красоты. А время течет для девушек быстро, быстрей, чем для воинов, и отдал отец дочь за первого, кто посватался ее последней девичьей весной. Не заметила Силкисиф, что время ее прошло: так же была густа коса, так же мягка кожа и так же безмятежны дни под отцовским богатым кровом. Для Олега такой брак – удача, пусть будущая жена старше и еще за шесть лет до рождения жениха видела, как играет перед нерестом лосось и выпрыгивает из воды, опираясь на горбатые спины соперников. Олег – сильный воин, счастливый добытчик и хороший отец: рабыня рожала от него, подрастает здоровый крупный сын, Асмуд, но дети рабыни, пусть взятой официально в наложницы и отпущенной после родов, не в счет. Несомненная удача для Олега такой брак, но в пределах своего фьорда. Их первенец, тоже Олег, родился легко, почти без боли, через девять месяцев после свадьбы. Красивый крепкий мальчик, но Силкисиф не слишком привязывалась к нему – будет еще много детей.

На драккаре Рюрика, проглотившем Варяжское море целиком, их было две женщины: она и Ефанда, золовка, сестра мужа и жена Рюрика. Золовки – родня хуже свекрови, всем известно. Ефанда вечно драла нос, хоть и девчонка против Силкисиф. Племянник Игорь, ровесник ее сына, родился слабеньким, а какого еще ребенка можно ждать от такой соплюхи? Силкисиф ждала, что Игорь умрет в плавании, но заморыш выжил. И все делалось для него, наследника Рюрика. Весла работали для него, мечи звенели для него, совет-

ники выгибали шеи – для него. Ошиблась Силкисиф, не следовало соглашаться на Олега, да разве с отцом поспоришь – вбил себе в каменную башку, что это достойный жених. Может, и не слишком достойный, но последний из приемлемых. А уж за Варяжским морем, в чужих краях, оказалась она вовсе не у дел. Лучшие наряды, привезенные купцами, доставались Ефанде, на пиру первая в залу входит Ефанда, самые богатые каменья – Ефанде в шкатулку. Этой соплюхе, что и мужа-то удержать не может! Вон сколько наложниц стоит в очередь на ночь с Рюриком, а тому некогда, на уме одни походы и новая дань – не видят Рюрика в кремле. И молчит самой себе Силкисиф о том, что ее-то мужу, Олегу, не некогда быть с нею – просто не нужно. Видит мужа на своей подушке раз в год, когда жрецы срок укажут. Раз в год рожает Силкисиф слабеньких младенцев с желтоватой тонкой кожей, редко кто доживает до двух месяцев. Шесть детей родила Силкисиф, пятерых похоронила, кроме старшего, Олега, и – опустела. Тоскует холодное чрево. Как ни старались жрецы, не завлечь мужа к законной жене в терем, не попасть и ей к нему, чтобы приказать, попросить, умолить на одну ночь на одну подушку. И наложниц больше не заводит Олег, и жен побочных не берет. Сколько ни прикармливает Силкисиф наушников из дружины, из челяди даже – ни один не приносит вести: дескать, маячит там, за реками-морями, походная жена, покладистая рабыня, случайная добыча. Не иначе злая здешняя ведьма отвратила глаза мужа от женщин.

Умер Рюрик, Олег стал у власти. Тут бы и почет Силкисиф. Однако дальше первого танца на официальных празднествах не движется ее удача. А весь почет, считай, те же лучшие самоцветы, наряды и послы – все равно Ефанде. Зачем послала своевольная Фрейя такого чересчур верного мужа, верного роду и господину? Немолода уже Ефанда, а Силкисиф еще боле: совсем пожелтела шелковая кожа, темные некогда волосы побелели даже внизу живота. Смерть князя Рюрика не принесла ничего. Она терпела, хотя обида грызла вечно голодным волком Фенриром, особенно по ночам. Заказала верному зелейнику надежного яда для дорогой золовки, и яд оказался надежен, как быстрый меч: зелейник умер через мгновение после того, как выпил из ее рук чарку с вином и свежим ядом. Даже кольцо, что она дала за работу, не успел спрятать как следует. Сам виноват, думать следовало крепче, а не вино пить. Зачем ей язык, который может при случае сказать ненужное слово? Зачем глаза, видевшие лишнее? Если бы можно было оставить только руки зелейника, Силкисиф бы так и сделала, да рук без человека не бывает. Но все труды пошли псу под хвост: Ефанда умерла сама.

Только приготовилась к почету, как появилась жена у наследника: Ольга. У слабосильного Игоря, наследника могучего Рюрика. Хотя ее сын, единственный выживший из ее детей, пусть нелюбимый, но родной, наследником не стал. Почему не стал? Не только из мужниной верности господину. Сказалась нелюбовь. Ее, материнская – к сыну. Его, Оле-

га, нынешнего князя – к сыну. Но изначально-то: ее, Силкисиф – к Олегу. И его, Олега – к ней, Силкисиф. Вырос сын в этой нелюбви с головой недружен и без сердца вовсе. Но гордый, как мать. Решительный, как отец. Что гордость и воля без ума? Беда. Олег и отправил его подальше – в Моравию. Чтобы его истинное детище, его любимая объединенная земля не пострадала. Но путается Шелковая дева, мысли тоже поблекли у нее, не только волосы. К чему она про наследника? Мог ведь и своего ребенка, Олега-младшего, на Ольге женить. Игорь не подарок, жаден, глуп, тороплив. Какой из него князь? Ольга – истинная княгиня. Сила в ней большая, волхвы аж боятся. Ясное дело, любой муж за ней князем станет. Почему не женил сына? Одна причина, только одна: как ни верен Олег Рюрику, но семья – это другое. Не женил, потому что кровь не велела, потому что сына на дочери не женишь, закон крови не велит. Обманули Силкисиф наушники, не углядели и жрецы. Была у Олега наложница ли, просто полюбовница, была. Женщина, какую любил. Одну из всех. Потому и не брал наложниц и жен. А Силкисиф – что, считай, след среди волн, седой след растаявшего буруна. Вот дети мертвые откуда. Вот откуда безумие первенца. А Ольга – дочь той его единственной любви. Знать, умерла полюбовница, вот на Ольге-то свет клином и сошелся. Счастье, что по-прежнему горда Силкисиф, не покажет виду. И нет у нее больше верного зелейника, чтобы яду сварил. Хотя мудра Силкисиф, догадалась – не хватит яду на всех. То

Ефанда была, теперь – Ольга. Жизнь жены – она длинная, как ее коса. Скрепится Силкисиф.

13

В нарядной полутемной комнате работница протянула хозяйке богатое, в медовых прожилках янтарное ожерелье, поставила ногу на лавку и принялась с наслаждением чесать щиколотку под тугими завязками кожаных башмаков, в городе победнее Ладоги такие не всякая хозяйка себе позволит. Либуша поморщилась:

– Блохи у тебя! Наказывала же полынь с коноплей класть на постель, ленивая, что и ну! Мамка княгинина велела что передать, нет? Отпустило у нее спину-то? Довольна снадобьем? Должно быть, довольна, раз такое ожерелье прислала. Рассказывай, что видела.

Рыхлая девка шмыгнула носом, захлопала белесыми ресницами, уставилась на хозяйку, приоткрыв полные, словно напухшие губы.

– Забыла, что ль?

Девка мотает головой, не зная, как половчее рассказать все виденное и слышанное за день. Слишком много поручений, слишком много событий и людей. Один рынок чего стоит нынче. Пришли новые купеческие караваны, привезли товары. Синие стеклянные лунницы, прозрачные, как река по осени, меняют на пять черных куниц, розовые заморские

раковины, сердоликовые бусины, а то еще из горного хрусталя бусы и янтарные, в точности как присланное ожерелье, а то тонко чеканенные копоушки-уховертки, чтоб уши лучше слушали да не болели по холоду, хитрые обереги на пояс и на плечо, бронзовые застежки и пояса с плашками меняют – не помнит, на что. А камка, объярь, жаркая парча, цветная пунцовая и лазоревая шерсть, а пряности и медь, а красная посуда, а скатерти с ромбами, не хуже, чем у хозяйки. А что оружия и всякого воинского снаряжения! А рыбы свежей, провесной, прутовой и вяленой! А живопросольной: окунь, сиги, белорыбица, сельди! А калачей, обсыпанных белой мукой, луковников и медовых маковок! А многоцветного платья и богатого узорочья! А невольников – что домашней птицы! А птицы, гладкой, пестрой и крикливой! И мехов: соболей и дорогих черных куниц, бобров, белок, лис и горностаев. И серебряных дирхем-кун, и витых гривен с молоточками Тора, и простых гривен на шею. Ай, дня не хватит рассказать, не то обойти все торжище. Рыжебородые красноорожие северные гости с весами и гирьками, чтоб мерить товар да обманывать, скалятся, пугают девку, степенные корелы в крашеных синих шерстяных рубахах шумят цепочками оберегов, востроглазые кривичи смущают бесстыжими речами, темные, как мохом обросшие, дреговичи глядят озойливо.

А слухи – богаче торговли, новости плотвичками играют в толпе, переплывают, подныривают от ряда к ряду. Еще не вернулись русы князя Олега из похода на Табаристан, не все

еще взяли, есть в ладьях место для тканей и пряностей, для серебра и золота, вот и осели на островах в Русском море до следующего лета; а князь уж отправил других в греческую землю говорить о мире с византийскими царями и боярством. О мире, выгодном для Вещего Олега, Ладоги и новой столицы на юге. Князь Олег станет диктовать свою волю греческой земле, дрожавшей под крутыми грудями его ладей, что бежали посуху на колесах. Мир премудрые писцы запишут в грамотке на веки вечные, и будет мир нерушим, потому что вещий Олег прозорлив и силен. Следить за тем, чтобы все правильно, без обману было записано, отправил князь в Царьград хитрое посольство с толмачами и писцами-колбягами, есть там послы наследника князь-Игоря, и княгинь Ольги и Силкисиф, и всяких княжьих родственников и свойственников. Князь Олег не едет в Царьград сам, он будет в Ладоге к Перунову дню – дожидать грамоты о мире здесь, глядеть, как управляется с городом наследник, подколенный князь. А до этого на наш праздник, на веселый, на Купалу, князь Олег пришлет славного кощунника, не иначе – разведывать да запоминать. Кощунник станет петь былички и старые, и новые, и привезенные грецкие.

Ничего не говорит девка, не зная не то не помня половины услышанных в городе, на княжьем дворе и на рынке слов, молчит, склонив голову к сдобному плечу, коса болтается.

Либуша сама услышала, вытянула слова из тугого молчания, палец послюнила, свила в ровную нитку слухи и догад-

ки, соткала полотно, оглядела узор, усмехнулась.

– Вон куда миленький мой Гудила поспешал, – только и промолвила.

Девка не поняла, села на лавку прямо при хозяйке, зевнула, закрыв рот ладонью от навьев, – уморилась. И то от хлопот уж тошненько, праздник на носу. В Ладоге русальцы каждый день пляшут на холме за околицей, свирцы дудят, звенят бубны и сковородки, девки пляшут и ратники пляшут с мечами, толпа кричит и вертится, пахнет распаренным березовым веником от молодых тел, распущенные рукава летят по ветру вильскими крыльями, косы струятся ковылем, вильской травой. Дождь прошел вчера, верно, кудесник какой волхвовал не ко времени, кудесникам – им лишь бы дождь вызвать, любят. Трава промокла от влаги небесной, промокли поневы и рубахи у баб и девок, лишь на спине остались сухие, потому что на спину падали после танца; и трава, на которую упадешь, под спиной – сухая, дождь шел недолго. А хоть недолго шел, но дети все равно родятся, много детей, от дождя всегда дети родятся.

14

Мальчик спал на лавке. Лицо его побледнело и осунулось, губы слабо шевелились. Он видел что-то недоступное Гудиле, что-то важное и, наверное, страшное. Может быть, навьи обступили найденыша, может быть, ему снился тот, кто раз-

грабил его деревню и перебил род.

Гудила приложил ухо к сухим растрескавшимся губам отрока, но не смог разобрать ни слова. Опасливо озираясь, словно Вольх караулил за дверью, или стыдясь присматривающих за домом берегинь и маленького ужа, свернувшегося клубком за порогом, Гудила спросил, как спрашивал хозяин:

– Что видишь, найденыш?

Мальчик принялся отвечать ясно и отчетливо. Гудила вздрогнул от неожиданности, попятился, но любопытство пересилило, и через мгновение он жадно прислушивался к удивительной, недетски связной и образной речи.

– Вижу могучую седую реку и плоский холм у самого истока. На холме – круглое святилище без кровли. Большое святилище в двенадцать саженей с выступами-лепестками для жертвенных костров. В кольце костров, в короне огня Хозяин Волхов, сам Ящер на могучих задних лапах, в крупной чешуе, передние лапы свисают на широкую грудь. Серые ольховые колья за спиной его и колья по бокам. Отрубленные конские головы глядят с кольев на Хозяина. Зеленые мухи сидят на головах, чешут мохнатыми лапками сытые бока. Сидит Ящер, ждет жертву. Богатую жертву, с красными лентами в гриве, с заплетенным хвостом, с розовыми ноздрями и карими глазами. Жертву, откормленную хлебом и клевером, скакавшую в поле на свободе, ни разу не униженную седлом. Вот ведут ее с песнями и танцами к Ящеру, на шее у нее два жернова, голова густо намазана светлым луговым ме-

дом, тонко и жалобно ржет она, склоняя голову перед Волховом, и мед капает на песок, точно слезы. Вот подводят ее к реке…

Гудила в ужасе отшатнулся. Больше прочей живности любил лошадей, а сколько их вылечил, сколько жеребят принял, не счесть. И хоть много на своем веку видел крови и смертей, как всякий жрец, а все не привык. Красочное описание подействовало на него сильнее зрелища.

– Нет, малыш, не нуди слушать, замолчи! Потому из меня не вышло путного жреца. Не гожусь на такое дело, не могу нож поднять. Даже голубя не могу зарезать, понимаешь, даже петуха… То, с чем любой ребенок справится… А тут живая лошадь. Глазки у нее, вишь, карие… Но погоди, не мог ты такое видеть-то, не положено тебе. Да ты, коль верить Диру, и не из наших мест. А как Диру не верить, он врет лишь за плату, дело такое. Слышь, про лошадку-то пропусти, дальше давай, я ведь сам того святилища не видал, хотя где только не бродил. А ты вон как складно ведешь, как под гусельки.

Мальчик замолчал, вытянулся на лавке и лежал без движения.

– Ах ты, навьи чары… Все одно, порядок забываю. Как сказать-то надлежит? Как там Дир говорил…Что видишь, найденыш? – вопросил Гудила деревянным неестественным голосом, дабы придать больше силы словам.

– С правой стороны от Ящера в своем кругу суровая Мокошь. Рог изобилия в руке ее и все наши судьбы… С ле-

вой стороны, ближе к реке, светлая Лада с зеленой весной за плечами. Прекрасно лицо ее, и кольцо в руке ее. Туман опускается на святилища. Див, дух живого и неживого, закрывшись крылами, плачет на кудрявых деревах. Падает светлая Лада, падает Мокошь. Ящер со стоном и скрежетом кренится, подворачиваются мощные лапы, катится Ящер в глубокий ров и дальше, в реку. Несет его колдовская сила против быстрого течения вверх по реке, по всем поворотам, по порогам перекатывает, постукивает, извергает на берег напротив города. Высокую могилу насыпают над ним и празднуют городом богатую тризну, и на третий день проседает земля на могиле, и Мокошь ходит берегом в можжевеловой роще. Пожирает Мать Сыра Земля, которая сама одно из лиц Мокоши, тело Ящера, остается яма на том месте, где ссыпали над ним курган, и не наполняется яма, сколько ни бросай в нее песка ли, земли. Отделяется внешняя душа Ящера, ходит над рекой, ищет себе другого тела. И когда поднимается она летать в ирье, то вода в реке поднимается следом.

– Что за бредни, малыш, – перепугался Гудила, аж зубами застучал, кинулся очерчивать громовые знаки – маленькие солнца – от вездесущих злыдней, – Ящера скинуть, великих богинь скинуть, быть такого не может! Ох, не услыхали бы они, не осерчали б на нас! Вечные они! Знаешь ведь, что вечные. Опять встрял, а Дир не велел перебивать, коли ты заговоришь! Так ить страшно, дело какое. Пытать ли дальше? Дир придет, хвоста-то накрутит. Погоди маленько, сем-

ка меда выпью, ужо посмотрим.

Мальчик продолжает рассказ, не дожидаясь вопроса, он розовеет и поднимается на лавке, а тело его не гнется, но Гудила не в том состоянии, чтобы заметить это.

– Новый бог стоит на месте Ящера. Тело из мореного дуба, голова серебряная, усы золотые. Стрела молнии в руке и палица в другой. Неугасимый огонь из дубового леса днем и ночью горит вкруг святилища. Волхвы ему прислуживают новые, жрецы-воины. Днем и ночью бог ищет себе жертвы, но ни масло, ни петух, ни конь не по вкусу ему, ему надобно кровавую жертву человеческую.

– Ох, малыш, да замолчи наконец! Ну его к навьям, это будущее, не под силу уразуметь этакие страсти. Пусть лучше Дир, он рассудительнее, дела ведает, князей понимает, дело какое, а я – что, я больше по коровам да по бабам, не до перемен богов мне, не до их Перунов. Страшно мне, малыш, мудрено. Княжьи боги – дело темное. Я же не против другой какой веры простой. Ну шаман из чуди там с бубном повыскочит, повыпрыгнет, повоет да попляшет, филином поорет, у нас, вон, и Дир мог бы шаманом… Ну кузнец иной, древлянский, Сварогом мучимый, волком перекинется, на четырех лапах побежит, овцу зарежет, а все ж-таки свой брат лесной… А уж чародейки-меря с чашами, по мне – вовсе красота; мрачноваты порой, но не все, не все, ей-ей. Молчи, малыш, до прихода Дира, пора бы уж ему воротиться. Дай-ка, мы его возвернем. Я ведь умею кой-чего, не просто так мед

пью.

Гудила попытался уложить мальчика на лавку ровненько, но тело того словно окостенело. Нимало не обескураженный неудачей, прикрыл больного меховым покрывалом, проворно достал с полки хозяйский квас, набрал полный ковш, трижды обернулся, жадно глотнул, после начал уже медленно прихлебывать. Немедленно с улицы откликнулась сорока, застрекотала.

– Подействовало! – удовлетворенно отметил Гудила и объяснил спящему: – Дир поспешает. Верное средство: не успеешь ко рту поднести, а тот, кого ждешь уж на пороге. Но не пропадать же добру, – выхлебал ковш и чинно уселся к столу, лицом к двери.

Вольх вошел, пригибая голову под низким косяком, сердито взглянул на приятеля из-под густых темных бровей, длинные волосы его, стянутые вкруг головы узкой расшитой тесьмой, казались совершенно черными против света.

– А, Дир! Ужика прикормил, гляжу. Такой, понимаешь, ужик потешный приползал, гладкий да шелковый, что женская задница, – тараща, чтобы придать им честности, круглые глаза, завел Гудила. Но вынести сурового взора друга не сумел, отвернулся к полке на стене, засуетился. – Не то квасу налить с дороги? Квас у тебя важный. Так налить квасу-то? Я вот думаю, ты в него добавляешь чего-то. Не калган, нет? Или от лягушек такой дух приятный. Квас-то, поди, лягушками остужаешь?

– Похозяйничал, – процедил хозяин, и гость испуганно умолк, но через минуту тягостного молчания принялся тараторить:

– Ну чего ты, чего? Самую малость мальчонку повыспрашивал, а он ничегошеньки и не рассказал, считай. Разве, про главное Святилище, то, у истока. Ты сам-то видал его, нет? Подумай, сказал, что разорит его князь Олег и своего Перуна поставит. Что будут Перуну человеческие жертвы приносить. А Великого Ящера закопают не то утопят, не понял толком. Когда еще будет! Да будет ли! И жертвы-то, поди, из пленников да рабов выбирать будут, как водится… Пустяшные жертвы, да? – Гудила внезапно всхлипнул, но тотчас принялся усиленно улыбаться:

– А мальчонка неплохо глядит, смотри, светленький весь и сидит даже. Веселый мальчонка. Ты его разбуди маленько, а то у него тельце чуток затекло, это, дело такое, с непривычки…

Вольх отвечал негромко, но громадная ольха на поляне тотчас зашумела, поднялся ветер, зашлепал волнами по реке. Гудила опускал голову, съеживался на глазах под страшными словами о безответственных жрецах, о смертельной угрозе, о несчастной доле тех малых и слабых, кто вручил себя недостойному их веры. Велеречив был Вольх и безжалостен к другу, увлекся, обличая, перегнул палку. Когда он дошел до недостойного веры, Гудила встряхнулся, как пес, перестал стыдиться, а напротив, как-то развеселился даже.

Вольх и рад бы остановиться, но собственная речь несла его могучим потоком, ни островка в ней, ни выступающей косы, чтобы замедлить движение. Заслушалась любопытная берегиня в окошке, приоткрыла маленький рот от усилия понять, не поняла ничего, чихнула от огорчения, перебила речь, и Вольх замолчал, растерянный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.